

# Константин Паустовский

I

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ  
ОЖИДАНИЙ



# Константин Георгиевич Паустовский

## Время больших ожиданий

### Серия «Повесть о жизни», книга 4

OCR Busya

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=159135](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159135)

Константин Паустовский «Время больших ожиданий. Повести, дневники, письма». Том I: ДЕКОМ; Нижний Новгород; 2002

#### Аннотация

В первый том произведений Константина Георгиевича Паустовского вошли повести «Время больших ожиданий» и «Бросок на юг» из цикла «Повесть о жизни».

В повести «Время больших ожиданий» замечателен незабываемый образ Одессы 1920 – 1921 гг., легендарной Одессы бесчисленных песен, анекдотов и великой литературы. Бандиты с Молдаванки еще не превратились в книжных героев, еще длится морская блокада, но Одесса – она всегда Одесса!

Повести сопровождаются неизвестными широкому читателю дневниковыми записями Паустовского и письмами людям, ставшим прообразами героев его произведений.

Сын писателя, Вадим Константинович Паустовский, для данного издания написал ряд статей, ставших результатом его исследований творчества отца.

# Содержание

ПОД ЗНАКОМ БАБЕЛЯ. Предисловие Вадима Паустовского	6
Фрагменты глав из повести «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»	34
Из главы «О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ»	34
Из главы «ПОСЛЕДНЯЯ ШРАПНЕЛЬ»	49
ПРЕДКИ ОСТАПА БЕНДЕРА	54
ЛАБИРИНТЫ ИЗ ФАНЕРЫ	82
ЯЧНАЯ КАША	88
БЛОКАДА	94
ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ	111
«ДЕНЬ МИРНОГО ВОССТАНИЯ»	118
АВСТРИЙСКИЙ ПЛЯЖ	134
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО	143
РУБКА МЕБЕЛИ	158
ПОЛОТНЯНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ	179
ПОХИЩЕННАЯ РЕЧЬ	200
МНИМАЯ СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА	207
КОСТАНДИ	
«ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?»	221
«МОПАСАНОВ Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ»	235
«ТОТ» МАЛЬЧИК	255

КАТОРЖНАЯ РАБОТА	266
БЛИЗКИЙ И ДАЛЕКИЙ	279
СКАНДАЛ С БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛЬЮ	288
ЗАМЕДЛЕННОЕ ВРЕМЯ	302
«ПРОЩАЙ, МОЯ ОДЕССА, СЛАВНЫЙ КАРАНТИН »	332
ОДИННАДЦАТЬ БАЛЛОВ	347
АКРОПОЛЬ ТАВРИЧЕСКИЙ	368
В ГЛУБИНЕ НОЧИ	386
Дневники и письма	396
Сергей Ларин. РАЗМОЛВКА	415

# Константин Паустовский

## Время больших ожиданий

### ПОД ЗНАКОМ БАБЕЛЯ.

## Предисловие Вадима Паустовского

Впервые эта книга «Повести о жизни» была опубликована в № 3 – 5 журнала «Октябрь» за 1959 год.

Первоначально ее предполагалось поместить в «Новом мире», о чем имелась договоренность с Твардовским, в то время главным редактором журнала. Но затем возникли разногласия, которые привели к обмену резкими письмами между редакцией и автором. Паустовский потребовал вернуть ему рукопись. Об этом узнал главный редактор «Октября» Панферов и предложил для публикации свой журнал.

Яблоком раздора между «Новым миром» и Паустовским послужил ряд мест книги, в том числе страницы, посвященные Бабелю.

Отец вспоминал обстоятельства дружбы с Исааком Эммануиловичем Бабелем, возникшей в 1921 году, когда оба будущих писателя жили летом на даче, на Большом Фонтане. Годом раньше Бабель еще скитался по Польше и Украине с армией Буденного. До опубликования новелл из циклов «Ко-

нармия» и «Одесские рассказы» оставались месяцы и даже годы.

Но в воспоминаниях Паустовского Бабель представал уже как бы известным автором этих произведений. Более того, Бабель показывает отцу много вариантов рукописи рассказа «Любка Казак», который увидел свет лишь в 1924 году, то есть через три года после дачных встреч.

Все это объясняется довольно просто. Паустовский бывал в Одессе и общался с Бабелем и в последующие годы. Он сознательно объединил старые и новые впечатления, чтобы сделать воспоминания более полными. Прошло только два года после XX съезда, вскрывшего и осудившего культ личности. Как знать, может, все переменится снова и имя Бабеля опять будет изъято из обращения?

В литературно-чиновничьих кругах к имени репрессированного и расстрелянного Бабеля продолжали относиться настороженно. Это подтвердила и придирка редакции «Нового мира», которая для отца оказалась совершенно неожиданной. В письме редколлегии журнала, подписанном Твардовским, высказывались сомнения не только по поводу значительности места, занимаемого во «Времени больших ожиданий» образом Бабеля, но и вообще по сути самой направленности вещи, не соответствующей определенным «советским стандартам».

Отец посчитал тон авторов письма развязным. Его задело отношение не столько к нему лично, сколько и прежде всего

– к Бабелю.

Поэтому он ответил довольно резко.

В дальнейшем Паустовский и Твардовский «помирились».

С Твардовским вскоре произошла значительная перемена. Он уже не смотрел на окружающее «с официального верха» (выражение из ответа отца на письмо Твардовского). Возможно, это было следствием публикации в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» и общения с Солженицыным.

Этот эпизод подтверждает, что отец (в отличие от ряда писателей и поэтов) не позволял увлечь себя никакой официально-партийной риторикой. Он мог уклониться, промолчать, иной раз вынужденно с чем-то согласиться, и то отчасти, но всегда старался не поддерживать ложь.

Подчинялся по возможности лишь собственным правилам поведения. Такие правила он время от времени составлял для себя на отдельных листках бумаги. Он не был педантом, скорее всего эти правила были итогом его наблюдений и выводов за определенный период. В настоящем издании воспроизводится один такой листок относящийся уже к началу тридцатых годов. К сожалению, не сохранились листки начала двадцатых годов, периода активного общения с Бабелем. Может, тогда их и не существовало.

Хотя Бабель был несколько моложе отца, как писатель он созрел раньше. Он сумел создать удивительный цикл новелл



о гражданской войне, в котором «не угодил» ни одной из сражающихся сторон, а только правде. И это – несмотря на крайне субъективное, «чисто писательское» восприятие действительности. Скорее именно благодаря ему.

Творческий путь Бабеля – пример того, как надо учиться «слушать все голоса мира», но подчиняться только «своему внутреннему голосу».

По словам отца, Бабель, чтобы оградить свой внутренний мир и не трепать нервы по пустякам, также предпочитал следовать определенным правилам. Записывал он их или нет – неизвестно. Заимствовал ли отец в этом отношении опыт Бабеля или же сам пришел к подобным мыслям? -сказать не могу.

Так или иначе, лето 1921 года, которое оба будущих писателя проводили вместе на Большом Фонтане под Одессой, очень много дало отцу в смысле писательского профессионализма. Они взаимно обогащали друг друга, хотя отец в своей книге в первую очередь подчеркивает роль Бабеля. В силу свойств своего характера.

Дачная жизнь располагает к тесному общению, тем более если это общение – семейное. Потому что не только Бабель, но и Паустовский, и Лившиц жили на даче не одни (как это можно заключить по «Повести о жизни»), а с женами.

Отец же в соответствии с замыслом этих глав сосредоточился на разговорах с Бабелем и «беседах с природой». Это соответствовало его настроениям и наблюдениям в тот пе-

риод. Поэтому иные мотивы – семейные и прочие – он сознательно обошел.

Не раз говорилось, что «женская линия» всегда была исключительно сильна в творчестве Паустовского, но упоминалось, что и ее он подчинял своему субъективному построению материала. Так, все женские образы неизменно преображены и возникают только в тех местах книги, где это предусмотрено автором.

В описаниях дачного лета 1921 года женская линия отсутствует. Исключение сделано лишь для жены самого Бабеля – Евгении Борисовны. Может быть, потому, что без упоминания о ней повисла бы в воздухе колоритная история о бабелевской теще и ее внуке, мальчике Люсе. Откуда, спрашивается, они тогда могли бы взяться? Саму же эту историю отцу очень хотелось рассказать (глава «"Тот" мальчик»).

Лишь вскользь упомянута сестра Бабеля Мария Эммануиловна, по-домашнему – Мери. А ее роль оказалась весьма знаменательной именно в сближении Бабеля и Паустовского.

Сам Бабель по натуре был человек замкнутый, он раскрывался далеко не сразу и далеко не каждому. Мери, напротив, обладала характером открытым и отзывчивым. Как и мать Бабеля, она словно озаряла светом жизнь всей семьи. Мария Эммануиловна была на три года моложе брата, родилась в Николаеве, где жила вся семья до переезда в Одессу, умерла в 1987 году в Брюсселе. После замужества с 1924 года пребывала в основном в Бельгии, куда к ней вскоре, похоронив

мужа, приехала и мать.

С тех пор все члены семьи обосновались в Европе. Может быть, это и сохранило им жизнь в отличие от самого Бабеля, который вплоть до середины 30-х годов навещал их.

В 1921 году Мери училась на биологическом факультете Новороссийского университета (так официально назывался университет в Одессе). Двамя годами ранее юридический факультет того же университета окончил Исаак Леопольдович Лившиц (Изя Лившиц по «Повести о жизни»). Он еще подростком сидел за одной партой с Бабелем в Одесском коммерческом имени императора Николая I училище. Возникшая дружба не прерывалась на протяжении всех последующих лет. Лившиц стал постоянным адресатом многих писем Бабеля.

Еще в студенческие годы с легкой руки Мери состоялось знакомство Изи с ее однокурсницей и лучшей подругой Люсей Верцнер. Это знакомство завершилось свадьбой как раз в начале 1921 года. Мери считала себя покровительницей брака подруги и стала инициатором проведения совместного дачного лета.

Изя Лившиц, окончив университет, юристом не стал. Его увлекла газетная работа в «Моряке», где он близко сошелся с четой Паустовских. И они стали третьей семьей своеобразного «дачного триумvirата». Тон задавала Мери Бабель, которая тесно сдружилась с моей матерью. У меня сохранились письма Мери к ней уже из заграницы, конца 20-х – на-

чала 30-х годов.

Неистребимое южное жизнелюбие помогало мириться с крайностями блокадного голодного лета. На даче было немало веселья, розыгрышей, разговоров допоздна за обширнейшим чайным столом, который в хорошую погоду выносили наружу и располагали под старой разлапистой яблоней. Может, это и дало название своеобразному литературному клубу, рожденному в шутку, но, как хорошо известно, во всякой шутке неизменно заложено зерно истины. В бумагах отца сохранился ветхий листок, отпечатанный на разбитой пишущей машинке:

## **УСТАВ КЛУБА ЛИТЕРАТОРОВ «ПОД ЯБЛОЧНЫМ ДЕРЕВОМ»**

Наши силы, наше знание, наши дарования и опыт были брошены в течение последних лет на всевозможные фронты. Один лишь фронт остался у литераторов совершенно забытым и заброшенным. Этот фронт – фронт литературы.

Ныне, демобилизуясь вместе со всей страной, мы невольно стали лицом к лицу с забытым нами плацдармом. Сбросив с плеч щиты и латы, мы возвращаемся к единственно родной для нас стихии

борьбы и жизни -радости и творчеству. «Литераторы, назад к литературе!» - вот девиз наш сейчас.

Клуб «Под яблочным деревом» стремится стать олицетворением литераторов в Одессе.

§ 1. Членами Клуба могут быть только несомненно чистокровные, густопсовые литераторы (расклейщики газет, выпускающие, любители порнографических программ и одесские репортеры исключаются).

§ 2. Членом Клуба может быть только литератор талантливый или «подающий надежды» (женщинам-литераторам – 20% скидки, поэтессам – 30%).

§ 3. Для вступления в Клуб необходима личная рекомендация двух действительных членов и одного общепризнанного гения (гением обычно бывает сам рекомендуемый).

§4. На собраниях Клуба литераторов запрещается вести беседы:

- о политике,
- о пайках,
- о предстоящей зиме,
- о дороговизне лука и о Шенгели.

§5. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность носить в боковом (левом) кармане пиджака:

- № 1) членский билет,
- 2) книжку стихов Веры Инбер,
- 3) порцию сахара для чая на собраниях (сахар можно заворачивать в стихи Инбер)
- 4) и пропуск для хождения по улицам после 3-х часов ночи.

§ 6. Литературные беседы ведутся по заранее разработанному плану. Каждому члену Клуба меняется в обязанность разработать «свой» план. Прения о планах воспрещаются...

Этот параграф устава, защищающий писательскую «субъективность», выдавал Паустовского и Бабеля как авторов всего текста. Среди других условий были пункты о казначее и почетном председателе, на пост которого почему-то выдвигался Семен Юшкевич, уже успевший эмигрировать. Правда, оговаривалось, что «из Америки его вызывать не следует». Заключительный параграф устава гласил, что «Евгений Иванов назначается плавучим доком Клуба для ремонта литераторов, получивших боковую течь или севших на мель». В списке действительных членов Клуба, кроме постоянных «дачников» – Бабеля, Паустовского и Лившица, – числились еще трое «приезжавших» – Иванов, Крути и Зоров.

Среди близких друзей Паустовский всегда слыл отличным «застольным рассказчиком». Для него это была даже неосознанная литературная работа – «обживались» подробности и образы, которые он затем нередко использовал в своих вещах. Точно таким же свойством отличался и Бабель. И только оставаясь наедине, они начинали вести те доверительные беседы, что отражены в центральных главах «Времени больших ожиданий», беседы о сокровенных особенностях писа-

тельского труда.

Правда, однажды беседа пошла по другому руслу. В книге отец приводит такие слова Бабеля:

«– Я не выбирал себе национальность, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом. – Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никак не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки».

Бабель признался, что не понимает причину антисемитизма. У отца же были твердые представления на этот счет. Его впечатления и наблюдения вобрали опыт и войны, и революции, и юных лет, проведенных в многонациональном Киеве.

Отец считал исходной причиной антисемитизма трусость. Ту животную изначальную трусость, что сопровождает людей с самых первобытных времен. Она в ладу с инстинктами, но не в ладу с разумом и человеческим достоинством.

Жизнь неизменно ставит перед нами много проблем – и социальных, и моральных, и материальных, – каких угодно... Порой они кажутся неразрешимыми, если идти путями разума и совести. Так рождаются погромы, войны, революции. Но в итоге это ничего не решает и мир по-прежнему – у разбитого корыта.

Выход, видимо, в умении проявить подлинно человеческую смелость, научиться объективно оценивать свои несо-

вершенства, а не искать их постоянно у других. Кстати, это важнейший христианский принцип. Но это трудный путь, требующий мужества и чувства ответственности. Много легче – по-страусиному засунув голову под крыло, ничего не видя, *предаться трусости* и непрерывно повторять заклинания. Например, «все было бы прекрасно, если бы не евреи, они во всем виноваты» и т. д. Впрочем, в зависимости от географической широты и долготы место евреев вполне могут занять арабы, негры, англичане и даже русские (как например, у нацистов).

Помню, как мы с отцом однажды забавлялись, читая тоненькую брошюру дореволюционного издания. Это были небрежно переведенные мысли известного немецкого философа, возможно даже, с отсебятиной переводчика. Поэтому фамилию философа можно опустить, но нельзя пройти мимо рассуждений по «национальному вопросу». Они хорошо отражали изъяны массового сознания, хотя и претендовали на философскую объективность.

Автор прежде всего устанавливал, что чисто национальными качествами могут считаться лишь те, что свойственны представителям самых различных социальных групп – например, и крестьянам, и министрам. Скажем, так – «французы легкомысленны. . .» Затем он резонно утверждал, что каждая нация считает себя богоизбранной и преисполненной всяческих достоинств, тогда как недостатки – удел нации по соседству. Автор издевался над такими взглядами, утвер-



ждая, что все недостатки и достоинства одинаково свойственны всем национальностям в равной мере.

Но следом у философа возникал неожиданный пассаж начинавшийся словами: «Однако мы, немцы, лишены недостатков!...» Затем уже шли обстоятельные рассуждения о немцах как народе, преисполненном одних добродетелей и начисто лишенном хотя бы одного изъяна.

Вопреки этому философу отец считал, что высшее проявление национального самосознания – способность трезво судить о своем народе, уметь замечать не только его достоинства, но и, скажем так, не лучшие качества. Такой способностью всегда отличалась русская литература, исполненная, кстати, именно любви к народу.

Еврейский вопрос давно стал большим для таких сравнительно молодых стран, как Польша, Украина и Россия. И в этом, возможно, заключается специфика этого вопроса. Он резко обостряется во времена смут, войн и революций – словом, во времена «умопомрачений», как говаривал Паустовский.

Сам отец был полуукраинец-полуполяк, но считал себя русским писателем, и действительно был таковым. Поэтому еврейский вопрос был актуален также и для него, и ему было что сказать здесь. Отец любил выражение, якобы приписываемое Черчиллю:

– Почему у нас, в Англии, нет антисемитизма? Просто мы не считаем себя хуже евреев.

Речь здесь, по мнению отца, даже не в сравнительных достоинствах наций. Англия – давно уже свободная страна, и англичане привыкли уважать других, как и самих себя. Тем более у них есть что противопоставить евреям и в смысле «практицизма».

Впрочем, проявления антисемитизма и даже расизма все равно можно встретить в Англии, как и в других странах Запада. Отец объяснял это тем, что «умственно неполноценных людей пока везде хватает».

Все три «родины» Паустовского – Украина, Польша, Россия – длительное время испытывали внутренний гнет монархизма, бюрократизма, большевизма и т. д. Это неизбежно привело к искажению массового сознания, к стремлению проявлять амбиции по отношению к тем, кто стоит вровень или ниже тебя на общественной лестнице. Но главное, такой гнет убивает, способность критического отношения к себе, к своим реакциям и поступкам.

Отец не раз отмечал, что отношение к «еврейской теме» даже в просвещенных кругах – резко контрастно, почти без полутонов. Одни чуть не по-черносотенски всячески чествуют евреев, другие, напротив, считают неделикатным даже касаться этой темы. Паустовский не боялся затрагивать этот вопрос и порой делал это без ложной деликатности. Просто он был по-писательски объективен. В письмах отца того периода, так же как и в дневниках, встречаются саркастические фразы по адресу тех евреев, что стремятся поудобнее устро-

иться при новом режиме. Но эта ирония всегда носила у него социальный оттенок.

Отец считал, что сами народы ответственны за свои беды – и за плохую власть, и за национальную неприязнь. Причем положив руку на сердце следует признать, что эта ответственность равно раскладывается на всех участников конфликтов по разные стороны баррикад.

Паустовский никогда не придерживался «национального признака» при выборе друзей. Но жизнь его сложилась так, что многие близкие его товарищи оказывались евреями. И он считал это вполне естественным.

Все гимназические годы он сидел за одной партой с Эммануилом Шмуклером, ставшим художником. В этом друге юности отец всегда отмечал душевную чуткость и отрешенность от того, что принято называть «прозой жизни». Затем интеллектуально близким отцу человеком стал Бабель. Но самое длительное приятельство, по существу на протяжении всей дальнейшей жизни, у него установилось с писателем Рувимом Фраерманом, с которым он познакомился как раз в те ранние годы в Одессе, а последние годы его жизни были связаны с Самуилом Алянским, издателем Блока, основателем «Алконоста».

Хочу снова вернуться в одесское лето 1921 года. Тогда, во время дачного застолья, возникало немало тем, любопытных и веселых. Одна из них – и забавно, и всерьез – коснулась жизненного пути Бабеля и, как ни странно, рикошетом заде-

ла и меня в детские годы.

Начало эпизода следует отнести к пребыванию моей матери в Париже в 1911 – 1912 годах. Там она изучала французский язык на педагогических курсах «Альянс Франсез», общалась с русскими эмигрантами (в том числе с Луначарским и Лениным) и вынесла из этого общения много поучительного. Отец использовал кое-что из ее парижских впечатлений в незаконченном и неопубликованном романе «Коллекционер».

Здесь же речь о другом. Любопытства ради мама взяла в Париже несколько уроков гадания по руке в школе хиромантии мадам Ленорман.

Еще в конце XVIII века, когда никому не известный молодой офицер Наполеон Бонапарт плыл к своим родственникам на Корсику, на корабле к нему подошла гадалка. Посмотрев на его ладони, она предсказала ему императорский трон и владение всей Европой. Возможно, Наполеон не принял это всерьез, но стимул был получен. Когда пророчество начало сбываться, он разыскал гадалку и озолотил ее. К ней потянулась вся парижская знать. Позже мадам Ленорман (так звали гадалку) основала в Париже школу хиромантии. Дело продолжили ее потомки, у которых мама и «получилась».

Порой мама очень точно гадала по руке своим знакомым. Правда, не всегда охотно, так как очень при этом уставала. Отец, переняв кое-что у нее, тоже пытался гадать, но у него получалось неважно. Видимо, здесь дело не только в знани-

ях, но и в интуиции.

Однажды дачным вечером мама предсказала Бабелю в ближайшие годы крупный литературный успех и известность, если не мировую, то всеевропейскую. Как Ленорман Наполеону. Это вызвало взрыв восторга и град шуток в адрес Бабеля, все помыслы которого в то время были направлены на то, чтобы опубликоваться в одесских газетах и журналах, не говоря уже о московских.

В свое время для молодого Паустовского открытка, полученная от Бунина, стала своеобразным стимулом упорной работы и преодоления трудностей на тернистом пути писателя. Кто знает? Может, мамино гадание сыграло такую же роль в отношении Бабеля.

Во всяком случае творческий взлет его был стремителен. Уже через пять-шесть лет после памятного дачного лета он обрел всероссийскую, а вскоре и европейскую известность. Вот тогда-то, в конце 1920-х годов, находясь в Париже, Бабель узнал, что у супругов Паустовских в Москве родился сын. Он вспомнил о гадании (а скорее всего и не забывал о нем), немедленно отправился в самые фешенебельные магазины и купил множество детской одежды и игрушек, причем не только для младенческого возраста, но и на вырост, лет до шести-семи.

Для моих родителей это был действительно Подарок с большой буквы. Жили они в то время в подвальчике в Обыденском переулке весьма скудно, чтобы не сказать бедно. А

я все раннее детство до поступления в школу щеголял в туалетах лучших французских фирм.

В результате получилась забавная история вполне в «отцовском духе», к тому же совершенно подлинная.

Что сближало Паустовского с Бабелем?

Призвание к писательству. Обычно люди приходят к писательству, уже имея немалый жизненный опыт. Более того, этот опыт и руководит выбором. Но бывают стимулы иного рода – изначальное внутреннее стремление к писательству, которое можно назвать призванием. Опыт приобретается потом, как бы подкрепляя призвание. Так было и на этот раз.

Бабеля «послал в жизнь» Горький. Паустовский сам понял необходимость этого. Горький был литературным опекуном Бабеля и в духовном отношении сыграл для него такую же роль, как Бунин для Паустовского. В этом «шефстве» двух крупных писателей над двумя начинающими тоже проглядывалось некое объединяющее начало. Только связь Бунина и Паустовского осуществлялась как бы пунктиром и на расстоянии, а Горький непосредственно влиял на писательскую судьбу Бабеля. Еще в 1916 году Горький поместил у себя в журнале «Летопись» его первые рассказы, затем отправил «в люди», в результате чего и родились «Конармия» и другие вещи. Общение Горького и Бабеля возобновилось по возвращении Горького в Россию и продолжалось до самой его смерти в 1936 году.

Горький активно защищал Бабеля от нападок Буденного,

заявив, что писатель имеет право на свое видение окружающего, даже если речь идет о доблестных героях Первой конной. Состоялся известный обмен письмами между Буденным и Горьким в печати.

В отличие от Буденного многие бойцы и командиры – прототипы героев «Конармии» всегда относились к Бабелю с теплотой, независимо от того, как они «выглядели» в его рассказах. Отец, со слов Бабеля, пояснял «кто есть кто», где сейчас эти люди работают, чем занимаются. Но их фамилии мало что говорят современному читателю. Поэтому упомяну лишь об известном военачальнике – маршале Семене Тимошенко. Он послужил прототипом одного из самых колоритных героев «Конармии», знаменитого начдива-шесть – Савицкого.

От гражданской войны у Бабеля осталась сильная страсть к лошадям. Он не случайно старался чаще ездить на Северный Кавказ. А отправляясь на подмосковную дачу Горького, неизменно посещал расположенные неподалеку конные заводы. Своей страстью он заразил и Лившица, у которого она воплотилась в любви к конным бегам. Оба стали постоянными посетителями ипподромов.

Особенно же связывало Паустовского с Бабелем то, что можно назвать «чувством языка». Это не только любовь к русскому языку как образному средству выражения мыслей, но и ко многим другим его особенностям, вплоть до его звучания...

В статье «Несколько слов о Бабеле» Паустовский писал:

«Впервые рассказы Бабеля я читал в его рукописях. Я был поражен тем обстоятельством, что слова у Бабеля, одинаковые со словами классиков, со словами других писателей, были более плотными, более зримыми и живописными. Язык Бабеля поражал, или, вернее, завораживал необыкновенной свежестью и сжатостью. Этот человек видел и слышал жизнь с такой новизной, на какую мы были неспособны».

Положа руку на сердце можно сказать, что для Паустовского Бабель был таким же открывателем богатств русского языка, но уже в иную историческую эпоху.

И точно так же Паустовский и Бабель вслед за Буниным именно здесь, в Одессе, в самом начале 20-х годов наблюдали и обратный процесс – начало вырождения русского языка под влиянием политической жизни. В первую очередь это коснулось газет и журналов, затем художественной литературы. Рождалась серость, угодная начальству, но не читателю. Об этом писал Бунин в «Окаянных днях», а Паустовский еще в 1919 году в Киеве записал в дневнике: «Жадно, нервозно читаю газеты – изуверские, писавшиеся в каком-то тихом бешенстве. Сплошная истерика... Какая-то „мертвая вода“...»

В глазах Паустовского русский язык являлся объединяющим, общечеловеческим началом, той «живой водой», что в народных сказках всегда противостоит «воде мертвой».

Он не раз подчеркивал, что процветанию этого языка спо-



собствует товарищество писателей разных национальностей и, напротив, обособление их друг от друга («почвенники» и т. п.) приводит к убогости не только языка, но и содержания.

Именно отцу принадлежит известный в свое время афоризм о положении в нашей литературе. Сравнивая писателей с рыцарями, которые в средневековой Англии вели войны между приверженцами орденов Алой и Белой Розы, он говорил: «В литературе, как всегда, идет война между Алой и Серой Розой!»

В одной из глав «Повести о жизни» автор говорит: «Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии...» И затем добавляет, что центральные части повествования – «Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий» -соответствуют наибольшему напряжению действия, его кульминации.

Сами названия этих частей как бы таят в себе тревогу, которую автор и не скрывает. Он словно задается вопросом: что ждет нас впереди?... И в то же время не перестает надеяться на лучшее, на то, что Россия преодолет хаос и беспорядок, порожденные бурными потрясениями начала века.

Поэтому, подобно Горькому, Паустовский не торопился расставаться со своими «большими ожиданиями», полагая, что разум и человечность возобладают над звериными проявлениями политического сознания, что крайности нового режима сведутся лишь к болезни роста.

Таковыми были его настроения одесского периода 1919 – 1922 годов, времени работы в газете «Моряк», когда он сошелся со многими интересными людьми – моряками, писателями, рабочими, журналистами...

Характерно, что все эти люди, как и Паустовский, жили надеждами, то есть настроением «больших ожиданий».

При всем различии «творческих лиц» было у Бабеля и Паустовского одно несомненное сходство. Каждый обладал сильным даром воображения, а если сказать точнее – преобразования. Все мы верим в достоверность Молдаванки, нарисованной Бабелем, и в то же время знаем, что подлинная Молдаванка имеет с ней мало общего. То же самое можно сказать по поводу многих рассказов Паустовского, в особенности ранних его рассказов с экзотической окраской.

В своем предисловии к маленькому сборнику рассказов семи молодых одесситов (Семен Гехт, Лев Славин, Константин Паустовский, Илья Ильф, Эдуард Багрицкий, Осип Колычев и Гребнев), к сборнику, так и не увидевшему свет, Бабель подметил: «Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, необыкновенно трогательно притворяется, что он в тропиках».

Паустовский в свою очередь постоянно подчеркивал специфическое любопытство Бабеля как важнейшее его качество, уже чисто писательское. Это как будто невинное качество часто ставило Бабеля в ситуации самые «чрезвычайные». Он порой устраивал «наблюдательные пункты» в са-

мых невероятных местах, вплоть до бандитских притонов, откуда приходилось уносить ноги с риском для жизни.

Еще в 30-е годы Бабель подарил моим родителям один из вариантов рассказа «В щелочку». Много позже ему удалось также «в щелочку» подглядеть жизнь верхов власти и убедиться, что и там процветают нравы бандитской малины. Это и ускорило его конец.

И вот находятся ныне люди, упрекающие Бабеля за «высокие знакомства». Они забывают, что писательское любопытство – это чувство особого рода, за которое порой приходится расплачиваться и жизнью. Бандиты не любят согладатаев.

Характерно и то, что годы спустя многие из тех, кто окружал отца в те годы, подобно энтузиасту-редактору газеты «Моряк» Евгению Иванову, будут репрессированы. Такова оказалась участь «надеющихся».

Самого Паустовского подобная судьба миновала, может, даже случайно. Я как-то начал вспоминать людей, которых отец повстречал за свою жизнь, с которыми работал, наконец, просто общался. И затем проследил их судьбы. В «сталинскую мясорубку» попало не менее половины из них. Не исключая и Бабеля.

Отец как и многие его сверстники и единомышленники, считал, что слову «социализм» исконно должно быть присуще «человеческое лицо». Иной социализм людям не нужен. То, что он на практике оказался удобен для эгоистических

политиков, а в дальнейшем – для бюрократов с приобретательским звериным сознанием, – не его вина, а беда. Вспомним, что Горький в период Октября называл ведущих большевиков не иначе, как «нелюдь».

Паустовский поначалу с подозрением относился к большевизму, но это вовсе не поколебало его веру в необходимость социализма как более свободного и справедливого государственного строя.

Но большевизму, по мнению отца, так и не удалось освободиться от недостатков прошлых государственных структур – алчности, пренебрежения к личности, глухоте к чужому мнению.

Он считал, что неумение большевизма преодолеть «традиционные недостатки» и превратило его в систему, получившую название «тоталитарной». К сожалению, такие системы возникали и в других странах. И они также нередко клялись термином «социализм».

Однако в те ранние годы этот термин оставался залогом иных возможностей, иных трансформаций. К лучшему, а не к худшему. Поэтому слово «надежда» не теряло своей власти над умами.

Все это объясняет, почему «Время больших ожиданий» не ограничилось для Паустовского одесским периодом. Оно продолжалось значительно дольше и завершилось созданием «Кара-Бугаза» и «Колхиды» уже в начале тридцатых годов. Некоторые особенности работы над этими вещами освеще-

ны им самим в «Книге скитаний», последней книге «Повести о жизни».

И хотя после успеха «Кара-Бугаза» и «Колхиды» перед Паустовским открылась широкая дорога преуспевающего советского писателя, он делает резкий поворот. Решительно впредь отказывается от темы социалистического строительства, чтобы, как он говорил, не превратиться в «индустриального дрозда» и не потерять себя как писателя. Так, лишь в середине тридцатых годов он уже окончательно расстаётся с «большими ожиданиями».

Прервав работу над экранизацией «Колхиды» (фильм так и не вышел на экраны), отец уезжает в Севастополь собирать материал для книги «Черное море». Он опять погружается в столь любимую им обстановку приморского города, вспоминает Одессу начала 20-х годов, подарившую ему дружбу с Бабелем.

Через двадцать лет после их встречи Бабель был арестован и пропал, и Паустовский считал своим долгом рассказать о нем при первой же возможности. Этой возможности пришлось ждать еще двадцать лет.

Имя Бабеля долго оставалось под запретом, а писателям в нашей стране, как и другим деятелям культуры, приходилось выражать свои мысли с оглядкой на указующий перст. Не миновала эта участь и Паустовского, хотя он всячески старался писать так, чтобы не обделить ни себя, ни читателей. Не случайно он намеревался заключительную часть сво-

ей автобиографической повести назвать не «Книгой скитаний», а – «На медленном огне». Но ясно, что такое название не прошло бы через цензуру.

Время работы отца над воспоминаниями о Бабеле как раз совпало с его выступлением в 1956 году на обсуждении романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». По существу это было первое открытое писательское слово о моральном облике партократии, порожденной большевизмом. Говоря о жертвах тоталитарного режима, отец упоминает и Бабеля. Отождествляя типичного партократа-номенклатурщика с образом героя романа – Дроздова, отец сказал: «...Если бы не было дроздовых, то сейчас с нами, в нашей среде жили и работали бы такие талантливые люди искусства, как Мейерхольд, как Артем Веселый, как Бабель и многие другие. Их уничтожили Дроздовы. Уничтожили во имя собственно-го вонючего благополучия».

В конце своего предисловия к «Времени больших ожиданий» мне хочется сказать, что замысел автобиографической «Повести о жизни» созрел у отца уже в середине 30-х годов. В журнале «Детская литература» (1937, № 22) была опубликована его статья «Несколько слов о себе». По сути это был ответ на анкетный вопрос журнальной рубрики «Трибуна работников детской книги: писатели о себе». Его статья явилась своеобразной канвой будущих книг «Повести о жизни». Об одесском периоде своей жизни К. Г. Паустовский напи-

сал в ней:

«Пришла революция, газетная работа и новые скитания, вызванные гражданской войной. Киев, Полесье, бои с бандами, Одесса – ее пустой порт, ее пустые в то время улицы, где буйно разрасталась акация, работа в газете „Моряк“. Это была необыкновенная газета. В ней было около ста сотрудников – писателей, поэтов, художников, лоцманов, матросов, капитанов и грузчиков. Гонорар платили хлебом и табаком. Крепкий черноморский смех гремел в редакции с утра до ночи. Был голод, но люди смеялись, – будущее шумело вокруг, каждый день был талантлив и свеж Багрицкий приносил в редакцию свои стихи и пел их своим хриплым взволнованным голосом.

В Одессе я впервые начал писать. Тогда в Одессе начали писать Бабель и Катаев, Ильф и Олеша, Багрицкий и Гехт. Я никогда не забуду работу Бабеля над словом. Я наблюдал ее и понял, что каждое слово заключает в себе великие опасности и вместе с тем великие возможности для писателя. Для точного владения словом нужен беспощадный вкус, строгость.

Из Одессы я уехал на юг на старом пароходе, груженном минами. Девять дней нас мотало в открытом море ледяным штормом. Мы погибали и зывали о помощи по радио, но никто не мог нам помочь – весь флот был уведен белыми за границу».

Среди бумаг отца я нашел еще один любопытный листок, который, как и предыдущая статья в «Детской литературе»,

проливает свет над замыслом его автобиографического произведения, в том числе и об одесской жизни. Этот листок можно рассматривать как своего рода план «Рассказа ассоциаций». Есть у рассказа и подзаголовок: «Опыт автобиографии». Первая строка плана начинается с перечисления: «Киев Гимназия каштаны [нрзб.] Вергинский». Одесский ряд представляет собой следующую цепочку записей: «Гюль-Назаров Одесса [нрзб.] с Лифшицем [нрзб.] перед морем Дом Ландесмана бегство белых Опродкомгуб Юшкевич Моряк Кривоходкин чисто в порту Лукагер (эта фамилия вначале записана, а затем зачеркнута) берега Аркадии на 16 станции [нрзб.] голод истории...»

И еще о замысле. Меня не покидает удивление, что жизнь героя в Одессе разбита писателем как бы на два периода. Первый описан в заключительных главах повести «Начало неведомого века», после того, как Паустовский прибыл в Одессу в начале ноября 1919 года. Тогда же он знакомится с журналистом Александром Гюль-Назарьянцем (в повести - Назаров). Второй период, собственно, и составляет целиком книгу «Времени больших ожиданий» с включением в нее в конце двух «севастопольских» глав. Такое деление, в общем-то, естественно: первые события проходят в основном до советской власти, а «Время...» – при ее становлении. И все же если новый, молодой читатель, впервые соприкасающийся с творчеством Константина Паустовского, возьмет в руки книгу «Время больших ожиданий» – отдельно как та-



ковую, – то его впечатление будет несколько обеднено.

Поэтому при издании повести «Время больших ожиданий» отдельной книжкой необходимо включить в нее одесские фрагменты глав «О фиринке, водопроводе и мелких опасностях», «Последняя шрапнель» – из повести «Начало неведомого века». Такой подход вполне оправдан, так как при этом не нарушается авторский замысел писателя и в то же время читатель не будет обделен и обеднен в своих впечатлениях.

Теперь последнее. При публикации шести книг «Повести о жизни» в двухтомнике Гослитиздата в 1962 году Константин Паустовский поместил короткое предисловие «Несколько слов», фрагментом из которого мне и хотелось бы закончить свое затянувшееся повествование:

«Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

*Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».*

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

# **Фрагменты глав из повести «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»**

## **Из главы «О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ»**

...Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и, бывало, по тихим осенним вечерам один только багровый жар жаровен освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид.

...Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт.

Назаров встретил в Одессе знакомую женщину – невропатолога из Москвы, – и она устроила нас в этот пустой санато-

рий. Ландесман -весьма величественный и учтивый человек – отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом.

Отопление в санатории не работало, комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная «буржуйка», как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трех-четырёх фунтов, – не было денег.

...Я опять работал корректором в газете (название ее я позабыл)<sup>1</sup>. Издавал эту газету академик Овсяннико-Куликов-

---

<sup>1</sup> Издавал эту газету академик Овсяннико-Куликовский. Название газеты мы теперь знаем – «Современное слово». Это установил одесский литературовед и исследователь Никита Брыгин. В газете за подписью «К. П.» был напечатан очерк Паустовского «Киев – Одесса». Редакция газеты размещалась в Одессе на Екатерининской площади, 7. Газета выходила ежедневно, имела собственных корреспондентов в Киеве, Ростове-на-Дону, Харькове, Севастополе и Константинополе. В редакции «Современного слова» работали тогда известные литераторы – Аркадий Аверченко, Андрей Соболев и другие. Среди начинающих – Вера Инбер. Кстати, в этой редакции Паустовский близко увидел своего кумира – Ивана Бунина, но так и не решился заговорить с ним. Путевой очерк Константина Паустовского «Киев – Одесса» совершенно неизвестен современному читателю. С момента первой публикации очерк ни разу не перепечатывался, не входил ни в одно собрание сочинений писателя. Почему? Одна-единственная фраза в нем – о большевиках, которые пытались «соединиться с бандами», – такая фраза могла обернуться для Паустовского непредсказуемыми последствиями. Каким же образом в прессе появился очерк? Осень 1919 года застала Паустовского в Киеве, в городе – деникинцы. Белые успешно продвигаются к Москве. Деникинский ге-

ский. Работал я через два дня на третий и получал очень ма-

---

нерал Бредов объявил мобилизацию в вооруженные силы Юга России – поголовно всех мужчин до 40-летнего возраста. Паустовский решил избежать принудительной солдатчины. Восемнадцать суток добирался он до южного города в изрешеченной тлями теплушке полуразбитого поезда. Пассажиры постоянно ощущали угрозу обстрела, страх от реальной возможности захвата состава бандитами. Все, что людям довелось пережить в пути, – события грустные, порой трагические – в сжатой, емкой форме и легли в основу материала Паустовского. Фрагменты путевого очерка Константина Паустовского из этого номера газеты (№ 45) от 5 (18) декабря 1919 года читателям и представляю. *КИЕВ – ОДЕССА... В желтом, грязном тумане – притихший, встревоженный город, тусклое золото его куполов, близкие и гулкие раскаты орудий и по ночам, за мутными пятнами станционных фонарей – злая зимняя тьма, родящая жуть, тревогу, тихую, саднящую тоску. Здесь, на ржавых разбитых путях, около остывших паровозов, в станционных помещениях – прокуренных, слюжамилепкой грязи на полу, в густо заселенных, дымящих жестяными трубами товарных вагонах – вся русская жизнь, как в призме. Жизнь растревоженной, измученной, одичалой страны. Стоим. За Ирпенем сердито ворчат орудия. Ждем паровозов. Изредка мимо нас проползает маневровый паровоз, пуская пар изо всех щелей. Но это не то. Мы ждем пассажирских. Наконец, паровозы пришли. Тогда нас начинают катать по путям. Катают два дня, передавая из парка в парк, делая на стенах какие-то загадочные пометки мелом, сцепляют, вновь расцепляют и, наконец, загоняют в какой-то безнадежный тупик, среди скелетов пассажирских вагонов с выбитыми окнами, с сорванными с петель дверьми, снова стоим. Наш путь на Фастов закрыт. Большевики, отступая на север, рванулись в сторону и захватили станцию Мотовиловку, пытаясь соединиться с бандами, орудовавшими вблизи города. На рассвете приходит серый, стальной бронепоезд. Солдаты рассказывают, что Мотовиловка отбита, банды разогнаны и чины, и штаб их повешены в Жулянах под Киевом. Путь свободен. Вечером, после недельной стоянки, мы отходим. Наш поезд первый должен пройти по только что очищенной линии до Фастова и Белой Церкви. На паровозе ставят охрану. В глубокой темноте перекликаются патрульные офицеры. И всю ночь мы медленно, крадучись, ползем до Фастова с потушенными огнями. Изредка заглушено свистит паровоз. Туман сошел, и на черных пустых станциях с развороченными*

окнами, с остовами разрушенных водокачек, в тишине гулко и раскатисто колыхают одиночные выстрелы. Мы идем вдоль линии фронта. Здесь со стороны большевиков стоят сбродные части. Есть даже два махновских пачка. Обмундированы они отвратительно. Вчера вели партию отчаянно ругавшихся пленных, в галошах на босу ногу, в лаптях, в «цыганских» рваных шинелях, даже в женских теплых кофтах. Это не армия, а, как сказал нам веселый, рыжеватый солдат-артиллерист, — «настоящее босячье». Фастов — сплошные развалины. Здесь только что стих бой, еще свежи следы пуль, еще стоит сладковато-горький, удушливый запах пожарища. За седой, в тополях и зимней изморози, Белой Церковью пошли гиблые места, наводненные мелкими бандами. По пути к поезду выходят «дядьки» и чудом уцелевшие местные интеллигенты — агрономы, священники, учителя. Как нищие бродят около вагонов, выпрашивая газеты. Жадно расспрашивают о Киеве, рассказывают о налетах банд, разъезжающих по деревням на подводах с пулеметами, о разных Конурах, Федоренко, подмахновцах, о развинченных рельсах и обстрелах поездов. Сами грузим дровами паровоз, сами накачиваем воду в тендер. Патрули ходят около вагонов, зорко всматриваясь в небольшие толпы крестьян, угрюмо и долго глазающих на поезд. За Бобринской начинается «египетская казнь» — нашествие одесских мешочников. Мешочники — это фанатики. Рискуя жизнью, ругаясь, крича до хрипоты, изредка вступая в жестокие драки, они лезут на буфера, тормоза, крыши, тендер стихийно и неудержимо. Бороться с ними нельзя. Паровоз весь облеплен мешками, впереди котла на площадку они взгромоздили комод — «один дядько везет в подарок дочке» — и сидит на нем, щелкая подсолнухи. На промежуточных станциях они с пеной у рта отбивают атаки новых волн мешочников, становясь яркими законниками и ссылаясь поминутно на коменданта поезда и железнодорожные правила. На подъемах, когда паровоз едва ползет и через каждые 300-400 саженей останавливается «набирать пар», они с гиком, смехом и свистом бегут рядом с поездом и дико топчут ногами — греются. Около Помошной беспокойно. Патрули с паровоза сообщают, что поезд преследует какой-то подозрительный разъезд. Начинается бешеная гонка, и разъезд отстает. По сторонам пути — следы крушений, перевернутые вагоны, изогнутые рельсы. Здесь проходил Махно. Все крупные станции — сплошные кладбища паровозов, стоящих длинными вереницами на запасных путях и ржавеющих от дождя и ветра. За Помошной конча-

с изображением Царь-колокола в Кремле.

Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнущий морской солью холодный воздух в его стенах.

...Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни -много или мало, – но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками – юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира – того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности.

...После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы, – побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из «батальонов смерти» пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали.

...Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им

хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной:

Бедный Рунич горько плачет –  
Вера лежит в гробу.

Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни, Вера лежала в гробу и просила Рунича:

Голубыми васильками  
Грудь мою обвей  
И горючими слезами  
Грудь мою облей.

Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лифшицем. Бездомный Лифшиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана.

У маленького, беспокойного и взъерошенного Лифшица была кличка «Яша на колесах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лифшица: он на ходу делал каждой ступней такое же качательное движение, какое, например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идет, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс-папье или на часть колеса, – подметки у них были согнуты выпуклой дугой.

Мы шли с «Яшей на колесах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышли два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались. Казалось, они поджидали нас.

– Бандиты, – сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:

– Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.

– Как?

– Подойти и заговорить с ними. И все будет ясно.

У Яши была житейская теория – всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей.

– О чем же говорить? – спросил я с недоумением.

– Все равно. Это не имеет значения.

Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:

– Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?

Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти

на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал.

Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.



– Вот видите, – сказал с торжеством Яша. – Мой метод действует безошибочно.

Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:

– Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.

– Ну уж и со всех! – весело ответил Яша.

– Почти со всех, – поправился молодой человек и улыбнулся. – С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас разденут – в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думаете?

– Да, пожалуй... – растерянно ответил Яша.

– Так вот, будьте настолько любезны.

Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.

– Если вас это не затруднит, – сказал молодой человек с финкой, – то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь, – обернулся он ко мне, – нам хватит и одного пальто. Жадность – мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного

не добьешься в жизни.

Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.

...Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу...

...Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан.

Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти.

Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стурдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем.

В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, ес-

ли не считать единственного двухэтажного дома с узкой темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян.

Я не внял предостережению Назарова и однажды поздним осенним вечером опять возвращался домой с Яшей.

Ходить вечером по улицам можно было, только строго соблюдая ряд неписаных законов. Нельзя было курить, разговаривать, кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее пробираться, надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые сорок или пятьдесят шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрестках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекресток очень быстро.

Мы благополучно дошли до Стурдзовского переулка, остановились, выглянув из-за угла, и долго прислушивались и всматривались в его кромешную темноту. С одной стороны, темнота была спасительной: она скрывала нас. Но, с другой стороны, она была опасна тем, что мы могли наткнуться на засаду.

Все было тихо, так тихо, что мы слышали в глубине переулка слабый шум прибора.

Мы крадучись пошли по переулку. Я сказал, что надо идти по той стороне, где подворотня, не доходя до нее остановиться, хорошо прислушаться, а затем быстро и беззвучно проскочить мимо подворотни. Расчет, по-моему, был математически точен. Если в подворотне есть люди, то они могут

нас и не заметить. Если же мы будем идти по противоположной от подворотни стороне, то нас могут заметить еще издали. Я высчитал, что в последнем случае мы будем идти против опасной подворотни, или, вернее, будем на виду у людей, спрятавшихся в подворотне, в пять раз дольше. И, следовательно, будет в пять раз больше шансов, что нас заметят.

Но Яша опять начал шепотом разводить свою теорию, что всегда надо идти в лоб опасности. Я не спорил с ним, чтобы не поднимать лишнего шума, и мы пошли по противоположной стороне от подворотни.

Яша считал про себя секунды. Мы знали, что от Стурдзовского переулка до санатория Ландесмана было семь минут ходьбы. В санатории за высокой оградой и железными воротами мы всегда чувствовали себя в полной безопасности. Особенно если не зажигали коптилок.

Когда мы проходили около подворотни, Яша споткнулся. Потом, когда мы вспоминали о происшествии в Стурдзовском переулке, Яша утверждал, что всегда, если хочешь сделать что-нибудь наилучшим образом, то обязательно сорвешься на пустяковине. Я же про себя думал, что всему виной была Яшина невыносимая походка. Но я молчал, чтобы не огорчать Яшу.

Как бы там ни было, но Яша споткнулся и от неожиданности, вместо того чтобы выругаться про себя, сказал внятным и растерянным голосом:

– Извиняюсь!

– Стой! – закричал из подворотни сиплый голос, и на нас упал режущий свет электрического фонарика. – Вынуть руки из карманов! Немедленно, матери вашей черт!

К нам подошли несколько вооруженных. Это был казачий патруль.

– Документы! – сказал тот же сиплый голос.

Я протянул свое удостоверение. Казак посветил на него, потом на меня.

– Пиндос, – определил он. – Скумбрия с лимончиком! Бери свою липу обратно.

Он отдал мне удостоверение и посветил на Яшу.

– А ты можешь не показывать, – сказал он, – сразу видать, что иерусалимский генерал. Ну ладно. Проходите!

Мы сделали несколько шагов.

– Стой! – вдруг истерически закричал тот же казак. – Ни с места!

Мы остановились.

– Чего стали! Сказано вам – проходи!

Мы снова пошли, но очень медленно, чтобы не выдавать свое волнение. Нервы были напряжены с такой силой, что спиной, всем телом я чувствовал, как казаки взводят затворы. Щелканья затворов я не слышал. Я понимал, что это – предсмертная игра кошки с мышью, что нас все равно убьют и что каждое мгновение может быть последним.

– Стой! Так вашу мать! – снова закричал казак. Остальные сдержанно засмеялись.

Мы снова остановились около стены. Я ее не видел в темноте, но я знал, что она сложена из грубого камня и на ней есть выступы и выбоины.

– Лезьте через стену, – сказал я шепотом Яше. – Одним рывком! Все равно конец!

Я был худой. Мне легко было быстро влезть на стену. Но Яша со своими ботинками-колесами чуть не сорвался. Я схватил его за руку и рванул. Мы перекинули ноги через стену и спрыгнули. Позади загрохотали частые выстрелы. С верхушки стены полетел битый камень.

Мы бросились через темный сад. Стволы деревьев, вымазанные известкой, белели в темноте, и это нам помогло.

Казачи лезли через стену вслед за нами. Пуля свистнула где-то рядом. Мы добежали до противоположной стены сада. В ней был пролом.

Казачи уже бежали по саду, но они теряли время на то, чтобы прикладываться к винтовкам, и мы успели выскочить в пролом. В трех шагах от него был крутой обрыв к морю.

Мы скатились с обрыва и бросились вдоль берега. Казачи стреляли сверху, но они уже потеряли нас в темноте, и пули шли в сторону.

Мы долго пробирались по берегу, изрытому оврагами и пещерами. Прибой все так же равнодушно и сонно рокотал по гальке. Трудно было поверить, что человек может бессмысленно убить такого же, как он, человека перед лицом этой осенней, теплой, пахнувшей чабрецом ночи, перед ли-

цом шумящего спокойными волнами моря. По наивности своей я думал тогда, что зло всегда отступает перед красотой и что нельзя убить человека на глазах у Сикстинской мадонны или в Акрополе.

Смертельно хотелось курить. Выстрелы стихли. Мы залезли в первую же пещеру и закурили. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от папиросы.

Часа три мы просидели в пещере, потом вышли и крадучись пошли по берегу к санаторию Ландесмана. Все вокруг было тихо.

Против санатория мы, цепляясь за кусты и камни, влезли по отвесному обрыву к высокой крепостной ограде санатория. В цоколе ограды было пробито круглое отверстие для стока дождевой воды. Мы пролезли в него, потом завалили его камнями, хотя это было совершенно ненужно, и вошли в дом.

Назаров не спал. Он оторопел от нашего рассказа. В ванной, где не было окон, мы зажгли коптилку и впервые увидели себя. Платье было порвано, руки изодраны в кровь. Но, в общем, мы легко отделались от смерти.

Мы жадно напились чаю и опьянели. Конечно, не от чая, а от удивительного, ни с чем не сравнимого, какого-то неведомого чувства безопасности. Если есть полное счастье, то оно было в ту ночь с нами.

Мне хотелось насколько возможно продлить это чувство. Я оделся, взял одеяло и пошел в лоджию – глубокую нишу

на втором этаже с выступающим балконом. В лоджии было темно. Ветер не проникал в нее, и меня никто не мог заметить с улицы.

Я сел в плетеный шезлонг, закутался в одеяло и так просидел до рассвета, прислушиваясь к звукам ночи.



## Из главы «ПОСЛЕДНЯЯ ШРАПНЕЛЬ»

С каждым днем жизнь в Одессе становилась тревожнее. Бои с советскими частями шли уже под Вознесенском.

В Константинополь отходили пароходы, переполненные беглецами. Почти все эти пароходы – грязные, с облезлой черной краской на бортах – выползали из порта с большим креном, были нагружены выше ватерлинии и так густо дымили, что этим дымом заволакивало весь Ланжерон и нашу Черноморскую улицу.

Но газеты еще выходили. Белое командование знало, что конец приближается буквально по часам, но всеми силами скрывало это от населения, особенно от беглецов с севера. В газетах печатались телеграммы о том, что наступление большевиков приостановлено и в Одессу отправлены из Салоник крупные французские воинские части с артиллерией и газамми.

...Однажды к нам в редакцию пришел Бунин. Он был обеспокоен и хотел узнать, что происходит на фронте. Стоя в дверях, он долго стаскивал с правой руки перчатку. На улице шел холодный дождь, кожаная перчатка промокла и прилипла к руке.

Наконец он стянул перчатку, мельком осмотрел серыми спокойными глазами дымную комнату, где мы сидели, и ска-

зал:

– Да, у вас небогато.

Мы почему-то смутились, а Назаров ответил:

– Какое уж тут богатство, Иван Алексеевич. На ладан дышим.

Бунин взял стул и подсел к столику Назарова.

– Кстати, – сказал он, – вы не знаете, откуда взялось это выражение «дышать на ладан»?

– Нет, не знаю.

– В общем – конец! – сказал Бунин и помолчал. – Дождь, холод, мрак, а на душе спокойно. Вернее, пусто. Похоже на смерть.

– Вы загрустили, Иван Алексеевич, – осторожно сказал Назаров.

– Да нет, – ответил Бунин. – Просто неуютно стало на этом свете. Даже море пахнет ржавым железом.

Он встал и ушел в кабинет редактора.

С юных лет я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к России и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой, за зоркость, за ясное бунинское ощущение, что счастье находится всюду и дано только знающим. Уже в то время Бунин был для меня классиком. Я знал наизусть многие его стихи и даже отдельные отрывки из прозы. Но выше всего по горечи, по страданию и безошибочному языку я считал маленький рассказ – всего в две-три страницы –

под названием «Илья-пророк».

Поэтому сейчас я боялся сказать при нем хотя бы слово. Мне было просто страшно. Я опустил голову, слушая его глухой голос, и только изредка взглядывал на него, боясь встретиться с ним глазами.

Много лет спустя я прочел «Жизнь Арсеньева». Некоторые главы этой книги стали для меня чем-то более высоким, чем самая совершенная поэзия и проза. Особенно то место, где Бунин говорит о костях своей матери, зарытых в глинистой и холодной елецкой земле, о неизбежной потере единственно любимых людей, об отчаянии этой любви и бедном сердце, тяжело бьющемся в пустоте жизни. Он знал простые слова, разрывающие наше сердце:

Плакала ночью вдова:

Нежно любила ребенка, но умер ребенок.

Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,

Звезды слезами текут с небосклона ночного.

Плакала мать по ночам.

Плачущий ночью к слезам побуждает другого:

Звезды светили, и плакал в закуте козленок,

Плачет Господь, рукава прижимая к глазам.

Бунин вскоре ушел. Я не мог больше работать, править высосанные из пальца и безграмотные заметки одесских ре-

портеров и ушел к себе на Черноморскую.

...Яша вбежал ко мне в комнату. Пришел Назаров. Яша кричал, что белые бегут без единого выстрела, что в порту – паника, что французский крейсер бьет в степь наугад и что нужно немедленно захватить самое необходимое, сложить маленький чемодан и идти в порт. Там уже началась посадка на пароходы.

– Ну и что же, – сказал я ему. – Идите. Это – дело вашей совести. Но я считаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя бросать свою страну. И свой народ.

– Да, – добавил Назаров. – Жизнь вне России не имеет никакой цены и никакого смысла. А если ваша жизнь, Яша, уж так драгоценна, – не знаю для кого, – так бегите, черт с вами.

– Глупости! – пробормотал Яша и покраснел до того, что на глазах у него выступили слезы. – Все бегут. Это меня засосало. Ну, конечно же, я никуда не уеду.

Решения в то время требовали быстроты. Одна минута колебания могла исковеркать всю жизнь или спасти ее.

Яша остался. Он бурно радовался тому, что ни о чем уже не надо думать и не надо колебаться. Он даже вскипятит чай, мы наспех выпили его и пошли в Александровский сад.

...Я долго потом не мог отделаться от гнетущего ощущения, будто я уже видел на картине какого-то беспощадного художника это гомерическое бегство, эти рты, разорванные криками о помощи, вылезаящие из орбит глаза, зеленые

от ужаса лица, глубокие морщины близкой смерти, слепоту страха, когда люди видят только одно – шаткие сходни парохода со сломанными от напора человеческих тел перилами, приклады солдат над головами, детей, поднятых на вытянутых материнских руках над обезумевшим человеческим стадом, их отчаянный плач, затоптанную женщину, еще изви- вающуюся с визгом на мостовой...

Люди губили друг друга, не давая спастись даже тем, кто дорвался до сходней и схватился за поручни. Несколько рук тотчас вцеплялись в такого счастливца, повисали на нем. Он рвался вперед, тащил за собой по сходне беглецов, но тут же срывался, падал вместе с ними в море и тонул, не в силах освободиться от своего живого и страшного груза.

...Над мостиком одного из пароходов вырвалась к серому небу струя пара, и раздался дрожащий густой гудок. Тотчас, подхватив этот гудок, закричали на разные голоса все остальные пароходы. То были прощальные отходные гудки.

*1956*

# ПРЕДКИ ОСТАПА БЕНДЕРА

Февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.

Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-«пацюков» судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади – все эти Привозы, Толчки и Барахолки – превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебежали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи.

Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.

Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.

Вместе со мной в санатории поселилось несколько жур-

налистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц – человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».

Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализируют, а нас все равно выкинут.

– Возможны крупные неприятности! – произнес Яша ровным голосом.

Какие могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.

Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.

Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».

До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономики, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его

куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.

Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне неимоверно скучными из-за своего готического шрифта.

Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики – черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.

Но зато в библиотеке у профессора стояли все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Это было завидное богатство.

Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна открытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я по-



любил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.

Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, – в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, – услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.

Все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.

С Черноморской улицы открывалось море – великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.

Черноморская улица была морским форпостом Одессы.

Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта.

Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.

Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей клячей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частноторговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:

– Вот уголь, уголек, уголек!

Среди неудобного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.

В то время Илья Арнольдович Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.

Ильф был монтером. Работал он медленно. Стоя на своей

стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.

Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.

Десятки Останов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они все же предлагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.

Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.

Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сюперб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.

Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.

Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли

одесситы, навсегда.

Я вспомнил об Ильфе и его персонаже – бесстрашном плуте Остапе Бендере – потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон барахолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.

Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздик, как и профессорская библиотека.

Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится; но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.

Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.

В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жестяную «буржуйку» мы топили старыми газетами и быст-

ро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.

На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.

Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно голышей.

– Вот, – сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, – имею честь представить товарища Торелли. Торелли – это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.

Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.

– Торелли или Торичелли? – придирчиво спросил Яша. Он был немного туг на ухо.

– Торелли, – уныло повторил Володя Головчинер. – Да это не важно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли – в миру Блюмкис – находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Головчинер, сын киевского про-

фессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.

Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.

Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы слышали только треск, будто кто-то проиграл стремительно дробь на турецком барабане.

– Позвольте, я переведу, – бесстрастно сказал Володя Головчинер. – Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и, по возможности, без смеха.

Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходявшем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.

Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четверем опытными журналистам. Надо пойти на

риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам, может быть, да-же дадут аванс – по несколько «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.

Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.

– Разглашать раньше времени – значит сглазить! – сказал он убежденно.

Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.

– Тогда, – сказал Торелли, – завтра в восемь утра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.

Он надел соломенное канотье – его он до тех пор держал за спиной – и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.

– Да-а, – задумчиво произнес Яша Лифшиц. – «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.

– Вы о чем? – спросил Володя.

– О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.

– Представьте себе, – сказал Володя, – что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!

– Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? – спросил Яша. – Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.

Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.

Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело.

Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон – синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься щекой к щеке спящего ребенка.

Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь, – это пришел за нами товарищ Торелли.

В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.



– Весны не будет, – сказал Яша. – Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.

Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообщил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.

– Куда вы нас ведете? – придиричиво спросил Яша. – Я предчувствую жалкую авантюру.

– Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, – торопливо ответил Торелли. – Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.

На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.

В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папах. Они даже не посмотрели на нас. Изо всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:

– Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!

Мальчишки скрылись.

Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байстрюки! Чтобы вы горели

огнем на том свете!»

Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.

– Не отставайте от этой машины, – сердито прошептал нам Торелли. – Тут будет дело!

Мы прибавили шаг. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.

На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линялые плакаты из кумача, обернутые вокруг деревьев, расшатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамах, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящиков.

Все это имущество охранял матрос с такой рыжей проволоочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.

На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».

– Сюда! Быстро! – сказал Торелли, рванулся в сторону и

выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с проволочными волосами не мог нас заметить.

Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.

– Прежде всего надо выяснить, – сказал Он, – что значит Опродкомгуб?

Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».

Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.

– Лучшего учреждения, – пропищал он, – нам и не нужно. В самый раз!

Тогда обозлился Володя Головчинер.

– Слушайте, синьор Торричелли, – сказал он. – Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.

Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.

Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслышанно глупым.

– Послушайте, – сказал он, – вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу. Или, худо-бедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд, начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! – крикнул Торелли. – Жизнь!

– А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? – спросил Яша. – Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.

– Ха! – воскликнул Торелли. – И еще раз «ха»! И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну, а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.

Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.

– Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов, – сказал Торелли. – Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, – он показал на меня, – заместителем, товарищ Лифшиц – экономистом, а я – репортером. Но главное – проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка – первая опасность.

Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.

Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.

– Служи дяде! – говорил матрос нарочито грозным голосом. – Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-пуцик! Служи дяде!

Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.

– Вот приبلудилась с ночи, – сказал нам матрос, – и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же, и придется! – ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать: – Ой же, и надо взять такую дурную смешную собачку! Ой же, и следует взять на матросское снабже-

ние такую кудлатую псину!

Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга. Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.

– Ах, какой парень! – неожиданно сказал Яша Лифшиц.

– Кто? – спросил Торелли.

– Конечно, не вы!

По темным коридорам красноармейцы, топя бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.

– Значит, так, – сказал Володя Головчинер, – Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения, пойдем к нему и попросим принять нас на работу.

Торелли взмахнул, руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.

– Вы что? – спросил он свистящим шепотом. – Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы – и бенц! – прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналисты! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?

– А как? – растерянно спросил Головчинер. Мы с Яшей

тоже опешили.

– Раз не знаете, так положитесь на меня! – высокомерно произнес Торелли. – Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!

Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним.

К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.

– Пожалуй, лучше всего будет здесь, – сказал Торелли и толкнул первую же дверь. Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!»

Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом немного поменьше: «Завотделом – Головчинер В. Л.»

Мы следили за действиями Торелли, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей.

Торелли достал из кармана брюк бумажный пакетик с несколькими кнопками, вышел в коридор и приколот плакат к двери.

– Вот и все! – сказал он и радостно потер руки. – Все об-

думано. Первый акт отошел. Теперь остается только ждать дальнейших событий. Присаживайтесь, прошу вас, на подоконники!

У Володи Головчинера была пачка кубанского табака, черного и сухого, как торф. Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили и начали ждать. Говорили мы шепотом. Один Торелли насвистывал вальс из «Веселой вдовы».

– Черт его дери, – неопределенно сказал Яша. – Может быть, нас действительно расстреляют?

Торелли презрительно фыркнул.

Мы сидели и прислушивались к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. Где-то даже зазвонил, как вызов из преисподней, надтреснутый телефон.

За окнами был виден Ланжероновский спуск, но не весь, а только один его живописный кусок. Море синело; норд уже иссякал.

– Мы самозванцы, – опять сказал Яша мрачным голосом. – Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти.

Тогда возмутился Торелли.

– Это мне страшно нравится! – воскликнул он. – Браво и бис! Не смешите меня. Где вы видите самозванцев? Разве мы не будем честно работать? Если мы нашли подходящее место для приложения интеллигентских сил, так это простой здравый смысл, и только!

– Вы Спенсер, Торелли, – сказал Володя. – Кант! Прези-



дент Пуанкаре! Вы подвели железную базу под мое шаткое звание заведующего информационным отделом. У меня после ваших слов выросли крылья.

– Тише! – вдруг сказал злым шепотом Яша. – Хватит паясничать! кто-то идет.

Действительно, по коридору кто-то шел, бряцая шпорами. Шаги были чугунные, как у командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся, помедлил и распахнул дверь.

Мы вздрогнули.

В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров прославленных партизанских отрядов. Косматые седеющие брови густо свисали над его черными глазами. Плохо выбритое лицо отливало синеватой чернотой. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка.

Человек с маузером пристально осмотрел нас, потом прикинул глазом величину комнаты и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:

– Доброго здоровьица, други! Будем знакомы. Карп Поликарпович Карпенко. Бывший работник на ниве народного

образования, а ныне ваш комендант. Кто здесь заведующий столь замечательным отделом? Кажется, товарищ Головчинер Ве Эль? Он здесь?

– Да, это я, – осторожно ответил Володя.

– Покорнейше прошу, – сказал комендант, – не позже, чем через час, представить мне точный реестрик потребного вам имущества, заверенный вашим подписом. Не зевайте, пока имущество не расхватили другие, более нахальные отделы. Информационный отдел всегда, знаете, остается в дураках. Имею на этот счет опыт. А почему? Потому, что интеллигенты, дорогой мой товарищ Ве Эль Головчинер, разводят нюни со всяким барахлом. Когти и кулаки надо показывать! Вот! – Комендант показал нам красный волосатый кулак. Он даже повертел им в разные стороны, чтобы мы лучше его рассмотрели. – Как говорится, сто раз покрути перед носом, а один раз стукни! Сразу всякое хрюкало хвост подожмет, и воцарится полнейший порядок. И эта штучка, – он похлопал по маузеру, – тоже прочищает мозги лучше, чем технический нашатырь. Не беспокойтесь. Вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное...»

Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтенье нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом:

– Очи у вас повылазили, что ли! Балет мне устраиваете! Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад!? Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы побили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу! Противно даже на вас смотреть!

После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом (так обыкновенно кричат, хватаясь за голову):

– Удерживай!! Удерживай его, чертяку! А то завалите здание! Удерживай, говорю!...

И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся. Громоподобный грохот покатился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над головой затрясся, и с потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топя бутсами, разбегались люди.

Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта:

– Тикайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается! Тикайте!

Внутреннее это опродкомгубовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли бороз-

ды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке.

Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды: никакой выправки у них я не заметил.

Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора.

– Видали бугая? – спросил комендант. – Чуть людей не поубивал. Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик. И не стесняйтесь. Составляйте с «походом».

С этой минуты мы поверили, что «гениальный» план Торелли удался, если не совсем, то по крайней мере наполовину.

Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни Опродкомгуба. Комендант оказался, по словам Торелли, «мировым хлопцем».

Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал каркать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, ко-

гда придется заполнять анкету.

Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова послышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц.

Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков.

Это был начальник Опродкомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин.

За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупях.

Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия – прекраснородушного философа и поэта – в окружении гремящих мечами и латами легионеров.

Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы, – учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него, всякие деляги, рвачи, хапуги, рукосуи и «леваки».

Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета.

– Оказывается, у нас есть даже информационный отдел! –

сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся. У меня упало сердце. Агин обвел всех нас глазами и снова усмехнулся.

– Кто заведует им? Вы? Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия? Головчинер? Вы не родственник известного сиониста Головчинера? Нет? Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы тоже могут причинить неприятности. А это ваши сотрудники? Все журналисты? Очень, очень рад! Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны.

Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначающий, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся.

Агин обернулся к нему, наклонил несколько набок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли покрылся обильным потом и молчал.

– Ага, понимаю, – сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. – Вы совершенно правы.

Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ, кивнул нам и вышел...

Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, «как мукомол».

Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» – и роздал всем по сто тысяч рублей, по талону на получение хлеба и по

анкете из ста двадцати вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял, как победитель, и троекратно, по-московски, облобызался с нами.

К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор.

Над ним висел огромный плакат: красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти у дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!»

Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расплзлась по картону и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно.

Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко.

Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнущий хмелем, – необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой.

Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было беспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой койке без тюфяка, сказал мне:

– Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие. Про то, как мы попали в Опродкомгуб.

– Ну что ж, пойдёмте.

Наутро мы пошли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разваливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков.

Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар.

Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла, и, кивая головой, тихо засмеялся.

– Я ждал этой исповеди, – сказал он, – но, признаться, несколько позже. Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищен вашей выдумкой, – она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное.

– Как же вы догадались? – спросил Яша.

– Прежде всего у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на Опродкомгуб как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант, Карп Поликарпович. Он первый же и



доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть хорошие работники, и не стоит подымать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозванный отдел в структуру учреждения. Самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным. Отсутствие его было бы явным ущербом. За что и примите мою благодарность.

# ЛАБИРИНТЫ ИЗ ФАНЕРЫ

Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами.

Опродкомгуб к весне переехал с Ришельевской в самую гущу этих уличных акаций – в «Северную гостиницу» на Дерibasовской.

Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных (или, как говорят на юге, «диктовых») перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями.

Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу по окружавшей город Порто-франковской улице.

Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные, загадочные переходы, тупики и закоулки.

Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого мура-

вейника. Он был заполнен особой породой человеко-муравьев. Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты, в фанерные клетушки.

На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты.

В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша – тетя Мотя или тетя Рая, – и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать.

Иногда даже казалось, что никакое учреждение немислимо без фанерных перегородок и курьерш, и только при наличии курьерш и фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной «тети Моти», так и всех стетушек Моть» из соседних – дружественных или враждебных – учреждений. Каждая «тетя Мотя» блюла авторитет своего заведения. «Правила внутреннего распорядка» были для нее скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая!

В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и в первую очередь кассу – унылую клетушку за прорезанным в фанере кривым окошком.

В Опродкомгубе над окошком кассы было написано си-

ним карандашом: «Товарищи! Сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами! (Основание: приказ по Опродкомгубу № 1807)».

Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами!» объяснялась просто: кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату просто большими, неразрезанными листами.

В зависимости от стоимости купюр листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевок было отпечатано на листе двадцать штук, и потому лист стоил двадцать тысяч рублей, а десятирублевок – шестьдесят штук, и лист с ним соответственно стоил шесть тысяч рублей.

Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму.

Против этого кассир не восставал: в конце концов такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами.

В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри:

– Что! У вас руки отсохнут, если вы порежете деньги?

Не хотите сами, так дайте вашим деткам. Пусть они получают удовольствие!

Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе.

Самый несговорчивый получатель денег всегда сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел вверх очков на протестанта и качал головой.

– Стыдитесь, молодой человек! – говорил он. – Скандальить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут где красная птичка.

С целью просветить сотрудников Опродкомгуба в области денежного обращения кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих.

То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил

деньги к фанере столярным клеем и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию, – кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами.

В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы – «лимонами». Миллиардам присвоили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в тридцать и пятьдесят рублей.

Среди денег, не имеющих хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральные карты. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине – не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом биржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов – от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.

Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю

липкую краску.

После этого деньги отпечатывались и на бумаге и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.

После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.

# ЯЧНАЯ КАША

Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.

Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.

Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.

Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах.

Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникала резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться.

Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога. Мясо морских ракушек – мидий – мы варили с солью. В



нем чувствовался сильный привкус ихтиола.

Кроме того, мидий надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду. Поэтому мидии были только летней пищей.

Лета мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещающая недалекий урожай «красненьких» (так в Одессе звали помидоры). Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше.

Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахара. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь.

Деньги уходили на ячную кашу и на воду, – за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес.

Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и

подчас грозило смертельным исходом.

Конечно – что говорить – мы предпочли бы топить нашу верную «буржуйку» газетами и бумагой. Но старые газеты тоже приходилось воровать.

С точки зрения морали, воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения, газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее – намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания расстриги Просвирняка.

Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря.

Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл – Боргезе, Альдобрандини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова.

Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрок. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный тарник.

На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие аппиевы дороги. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею, стоял тоже осыпавшийся с юга, со стороны моря, знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими зла-

ками и бессмертником.

Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил окраске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет Пергама и Эллады.

Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подыметя летнее солнце Одессы и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев.

Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но, правда, удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам даже удалось выломать раму от дверей.

Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалять «буржуйку» и так же мгновенно кипятить на ней чай. Все дело, было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинками. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров.

Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях

Версальского мира.

После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы светло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот расстриги Просвирняка и его же маленький охотничий топор. За это расстрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли, – его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло.

Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали зельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты.

В темноте мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой.

Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии ее не было, да и не могло быть. Кому бы пришло в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары.

В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.

Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения.

Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом, изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой.

Я разводил огонь в «буржуйке», а Яша падал на продавленный матрац на полу, проклинал себя, «буржуйку», Одесу, Антанту и все на свете, стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова.

У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей опустили и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных дровяных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам.

# БЛОКАДА

В туманной области человеческих воспоминаний заключено, на первый взгляд, много таинственных, а на самом деле просто необъясненных вещей.

Например, воспоминания о больших событиях бывают подчас такими же зыбкими, как, скажем, воспоминания о самом сереньком деньке.

В своих писаниях я старался избежать этой зыбкости, но не уверен, что это мне вполне удалось. Память зачастую оставляет нам субъективный облик времени, тогда как мы думаем, что он объективен и точен. Так, например, вся жизнь в Одессе в конце 1920 года и в 1921 году сохранилась в моей памяти как некий сравнительно мирный отрезок времени среди гремящих и ошеломляющих событий. Чем это объяснить?

В те годы Одесса опустела. Часть рабочих ушла на север, в Советскую Россию, с первыми же частями Красной Армии, с продовольственными и матросскими отрядами. Это было еще до появления интервентов и Деникина. Часть же населения отхлынула из Одессы в деревню, спасаясь от голода и белых мобилизации.

В городе почти не было больших заводов. Самыми крупными предприятиями считались джутовая фабрика, консервные фабрики и судоремонтные мастерские. Над городом

властвовал порт с его люмпенами – грузчиками, босяками и жлобами. А на обширных городских окраинах засел упорный и изворотливый одесский обыватель.

Во время интервенции оставшиеся в Одессе рабочие всячески поддерживали подпольщиков-большевиков.

Подпольщики скрывались в каменоломнях и в самом городе. Несмотря на аресты и расстрелы, они работали так смело, что им удалось даже провести при французах и деникинцах областную конференцию большевиков, регулярно выпускать подпольную газету «Коммунист», распространять множество прокламаций, поддерживать бастовавших работников типографии, трамвая и телеграфа, взорвать поезд с военным имуществом интервентов и, наконец, создать военно-революционный комитет, который принял временную власть над городом в первые дни занятия Одессы советскими войсками.

Незадолго до взятия города, когда бои с белыми шли уже у Берислава и Перекопа, деникинская контрразведка расстреляла девять молодых большевиков-подпольщиков. Перед казнью их изощренно пытали, и средневековые эти пытки потрясли даже толстокожих одесских обывателей.

Я помню рассказы об Иде Краснощекиной, проявившей непостижимую твердость и несокрушимое мужество. На нее обрушилась вся ярость контрразведчиков.

Перед казнью подпольщики написали письмо своим товарищам на свободе. В этом письме были простые и берущие

за сердце слова: «Мы умираем, но торжествуем».

В этих словах был заключен молодой пыл и великая вера в неизбежность победы – тот пыл и та вера, что с тех пор стали неотъемлемым качеством революционной молодежи.

Ко времени второго прихода деникинцев ряды рабочих в Одессе еще сильнее поредели. Почти все заводы были закрыты. Порт зарастал сорной травой. Жизнь явно замирала, и только бешеная спекуляция пылала пышным и ядовитым пламенем.

Кроме того, в Одессе существовал большой разрыв между сознанием людей, пришедших с севера и живших уже в третьем году революции, и сознанием одесситов, живших в революции только первые месяцы.

Мне тоже пришлось пережить не одну, а три Октябрьских революции: первую в Москве в октябрьские дни 1917 года, вторую в 1919 году в Киеве и третью в 1920 году в Одессе.

В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых практическому опыту обывателя-одессита.

Появились решительные и неумолимые люди (их всех одесситы без всякого разбора звали «комиссарами»), точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы.



Кажущееся спокойствие тогдашней одесской жизни объяснялось еще и тем, что зима 1920 года и весь 1921 год был в Одессе временем блокады. Море месяцами лежало, как мертвый плат, без единого пароходного дыма.

От Советского севера Одесса была отрезана разрушенными железными дорогами, налетами всяческих банд, «дикими территориями», где не было никакой власти, взорванными мостами.

Это и вызывало ту некоторую обособленность одесской жизни, какую нельзя было не заметить даже при самом беглом знакомстве с революционными событиями на нашем юго-западе.

Я часто просыпался на профессорской тахте и слушал ночь. С некоторых пор это стало любимым моим занятием.

Ночь наливалась тишиной. Я долго вслушивался в эту грядущую тишину и улавливал иногда далекий звук пушечного выстрела. Это французская канонерка «Ля Скарп» обстреливала каждую ночь Очаков.

Веская тишина и перебаты пушечного гула означали блокаду.

До сих пор я только читал это слово в исторических книгах или в старых, как зеленоватый налет на бронзе, морских романах. Но все же я довольно ясно представлял себе блокаду.

Что это было? Пустое море, где зловеще проносились

быстрые сторожевые суда, бессмысленный орудийный огонь с моря по окраинным огородам, погасшие маяки, взорванный у входа в порт транспорт, стены его мачт над водой, далекий луч прожектора рядом с мерцанием Млечного Пути и легкость во всем теле от недоедания.

Если таковы были, по моему тогдашнему разумению, приметы блокады, то одесскую блокаду можно было назвать классической.

Все, о чем сказано выше, стало в то время содержанием одесской жизни. Хотя по временам нам самим казалось, что реальность так густо переплелась здесь с фантастикой, что их друг от друга нельзя отделить.

Несмотря на голод, ледяную сырость в домах, на разруху и одиночество (Яша ближе к весне переехал в город, и я остался на Черноморской один), я чувствовал временами приливы необъяснимого подъема. Я приписывал это своей молодости, хотя и не был тогда так особенно молод, – мои годы уже подходили к тридцати. Но я ощущал себя восемнадцатилетним. Ко всему взрослому – положительному и благоразумному – я был враждебен, хотя временами и робел перед ним, как мальчишка.

Все в Одессе вызывало у меня такое юношеское состояние, даже длившаяся всю весну и лето блокада.

Представление о блокаде, как я уже упоминал, связано с морем, где нельзя увидеть на горизонте ни одного пароходного дыма. Так было тогда в Одессе. И это мне нравилось.

Море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара вдаль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца в колебании волн.

Изредка на горизонте появлялась эскадра причудливых парусных кораблей. Они надменно плыли под белыми тугими парусами, но, приблизившись, превращались в грозные снеговые горы и неожиданно швыряли в потемневшую воду молнии и раскаты грома.

Море отзывалось на голоса этих туч, превращая один гром в сплетение многих гулких громов. Они сотрясали морские дали па всем направлениям.

Я пользовался всяким свободным днем, чтобы уйти из города на самые отдаленные станции Большого Фонтана. Началась весна. Приход ее на это степное побережье был трогательнее, чем в местах, богатых растительностью. Может быть, потому, что здесь был очень виден каждый цветок, тянувшийся из-под заржавленных рельсов заброшенного трамвая, каждая трепещущая бабочка, сушившая крылья в теплых струях морского воздуха.

Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов, подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца «Занте». Он был выброшен на прибрежные скалы у Большого Фонтана, вклинился в них, и

никто даже не пытался снять его с этих скал.

В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь, вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы – погреться на склепанных железных листах.

А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих трирем или цветные паруса финикийн, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда.

Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются. Ведь в баснословные времена трирем людей на земле было мало, и потому, конечно, были очень пустынными все ее моря и материки.

Сейчас же Черное море было пустым из-за блокады и еще потому, что белые, бежав из Одессы, увели с собой весь так называемый торговый флот – все пассажирские и грузовые пароходы, буксиры, баржи и катера пароходных обществ РО-ПИТа (Русского общества пароходства и торговли), Черноморско-Дунайского пароходства и Добровольного флота.

Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродало его заграничным компаниям.

Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлядь, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Крапотницкого. Шая был посмешищем морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг даже извозчики. Служить на пароходах Крапотницкого соглашались только

отпетые неудачники. Жалованье из Крапотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот.

Шае принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», ходивший из Одессы в Аккерман и описанный Катаевым в повести «Белеет парус». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что «Тургенев» принадлежал пароходной фирме «Мишурес и сыновья».

Где-то на мусорных задворках Нефтяной гавани, на «корабельном кладбище», осталось несколько развалившихся пароходов, предназначенных на слом, и среди них проржавевший насквозь «Димитрий», тоже принадлежавший пресловутому Шае. Этот Пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни.

Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков, в излюбленное место престарелых рыболовов.

Мола заросли овсом (от рассыпанного зерна) и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на одесском судостроительном заводе Беллино – Фендерих.

На широких молах портовые сторожа разводили огороды. Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разго-

воры.

По всем огородам стояли пугала и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугала изображали бродяг и пропойц в рваных тельняшках и брюках-клеш из дырявой мешковины.

На тряпичные головы этих бродяг были напялены детские ватные капоры или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков сейчас же пустятся в «танец смерти» или канкан.

Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на Карантинном молу. Оно изображало прощельгу в шкиперской каскетке, с бутылкой водки в руке. Прощельгу этого прозвали «Жорой с Дюковского сада».

Вместо водки в бутылке была морская вода. Но это мешало завсегдатаям порта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать.

Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимый для воробьев.

Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развевались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь.

Все это (в том числе и пугала в порту) было косвенными приметами блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно (в начале лета даже старый знакомец <<Ля Скарп> удалился от одесских берегов), и потому ей сопутствовали разные мирные, а иной раз и идиллические занятия жителей.

Война с белополяками не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне Очакова и Кинбурнской косы, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга, – немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развевая на гафеле грот-мачты выцветший андреевский флаг.

Были еще и другие блокадные приметы. Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей.

Мы, работники Опродкомгуба, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, насытить, как по евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек.

Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, «по литерам». Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита, от «А» до «Я», и хлеб выдавался в зависимости от литеры: по «А» больше всего, а по «Я» давали почти невесомое его количе-

ство, очевидно только для канареек.

Я получал хлеб по литере «К».

Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникавшей паникой, насмешливым обсуждением высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно – так же, как рассеивается пыль после взрыва.

Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь растопыренной пятерней.

В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности жеста она представляется мне образцом уличных скандалов.

В очереди стоял кроткий старец еврей в длинном, до пят, потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно рассматривал очередь через необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман.

Это был, конечно, ученый, может быть, даже цадик, старый философ с Портофранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположения к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах.



Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли канареечного цвета.

Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках. Весь город наполнялся их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах.

Молодой человек соображал, как бы незаметнее и без скандала втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой. Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротивления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, стал перед ним и небрежно сказал:

– Я извиняюсь!

Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь под самую «душу». При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку:

– Нет, это я извиняюсь!

Молодой человек икнул, отлетел и ударился спиной об акацию. Кепка упала у него с головы. Он подобрал ее и пошел, не оглядываясь, к перекрестку. Только на перекрестке он наконец обернулся, погрозил старику кулаком и сказал, всхлипывая:

– Каторжанин! Старый бандит!

Очередь молчала. Коллективная мысль, захваченная врасплох этим событием, еще не оформилась и не получила ясного выражения. А старик вытащил из кармана книгу и углубился в нее, выискивая, очевидно, какую-нибудь истину, пригодную для обсуждения с приятелями-стариками в тихих дворах Портофранковской улицы.

Дни блокады казались безмятежными некоторой части населения Одессы только из-за полной неосведомленности о том, что происходит вне города. На самом же деле положение для молодой еще Советской власти было грозным и напряженным. Нужна была большая находчивость и вера в свои силы, чтобы выйти из нависшей над городом опасности.

Дело в том, что после бегства белых из Одессы на окраинах города и в немецких колониях, во всех этих Либентальях, Люстдорфах и Мариентальях, застряло около семидесяти тысяч деникинских офицеров и солдат.

Союзники рассчитывали, опираясь на них, поднять в Одессе восстание и поддержать его с моря огнем своих кораблей.

Кроме того, в предместьях – на Молдаванке, Бугаевке, в Слободке-Романовке, на Дальних и Ближних Мельницах – жило, по скромным подсчетам, около двух тысяч бандитов, налетчиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого и прочего темного люда.

Настроение этого разнообразного и нервного общества было неясным. Бандиты вообще отличаются истеричностью и непостоянством привязанностей. Никто не мог знать, как они себя поведут, если случится восстание.

В Одессе в то время было мало советских войск. А между тем союзная эскадра уже крейсировала у берегов Одессы, выслав вперед для разведки итальянский миноносец «Ракия».

И вот произошел случай, резко изменивший всю обстановку. Миноносец «Ракия» наскочил на мину на траверсе Большефонтанского маяка. Внешним проявлением этого события был только легкий гул, докатившийся до города с моря. Но он никого не встревожил.

По приказу Одесского губкома рыбаки с Золотого берега, Большого Фонтана, с дачи Ковалевского и из Люстдорфа – люди опытные и спокойные – немедленно вышли на своих шаландах к месту взрыва, подобрали уцелевших итальянцев, сняли с тонущего миноносца убитых и доставили их на берег раньше, чем успели подойти на помощь корабли эскадры.

Тела погибших итальянцев привезли в Одессу. Командующему эскадрой было передано радио. В нем сообщалось,

что город, удрученный этим несчастьем, берет на себя похороны доблестных итальянских моряков, приглашает командира эскадры прибыть на торжественную церемонию и просит выслать для отдания последних почестей погибшим отряды моряков.

Адмирал ответил согласием, – больше ему ничего не оставалось делать.

А наутро от порта до Куликова поля около вокзала где была приготовлена братская могила, выстроились красноармейские части и отряд наших моряков без оружия. На всех домах висели траурные флаги. Путь похоронной процессии был усыпан цветами и ветками туи.

Сто тысяч одесситов присутствовало на этих похоронах – почти все тогдашнее население города.

Гробы несли на руках портовые рабочие. За ними шли с винтовками, опущенными дулами к земле, загорелые итальянские матросы.

Играли оркестры с иностранных судов и сборный оркестр Одессы. Он не ударил в грязь лицом, и надрывающие сердце траурные звуки шопеновского марша заставляли чувствительных одесситок плакать, утирая глаза концами шалей.

В церкви Ново-Афонского подворья печально и похоронно звонили колокола. Крыши домов были черны от людей.

Над могилой говорили речи. Итальянцы слушали их, держа винтовки «на караул». Потом отдаленный прощальный залп кораблей слился с ружейным залпом на Куликовом по-

ле. Братская могила превратилась в пирамиду цветов.

После похорон для иностранных моряков был устроен в бывшем кафе Фанкони ужин. На него товарищ Агин истратил почти весь неприкосновенный запас продовольствия.

После таких похорон не могло быть, понятно, и речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками их погибшим товарищам, и были растроганы дружеским приемом.

Старый адмирал, похожий, как говорили, на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что проиграно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь. И эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров.

Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и Одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов.

Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов эскадры с нашими рабочими и солдатами и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность.

Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами.

Потом в одно безоблачное утро у Карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки, турецкие фелюги

из Скутари – первые торговые суда в Одессе.

На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыли из Турции на двух фелюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бо-  
чонок маслин.

Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, сразу изменилось: весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какую я на нем не видел до тех пор.

Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых хотя и в чужой, но прекрасной стране.

# ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданно-го сплетения обстоятельств. При этом он в доказательство своей правоты приводил слова из чеховского «Иванова»: «Жизнь наша, жизнь человеческая, подобна цветку, произрастающему в поле. Пришел козел, съел – и нет цветка!».

Торелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя.

Он утверждал, что Одесса – взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году.

Интервенты разделили город на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перетащили часть стульев к себе – отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, «страшный шумер» и начал даже стрелять.

Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав: произошло причудливое и неожиданное сплетение (или, как говорил Володя, «хитросплетение») обстоятельств.

В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли.

– Вставайте! – крикнул он мне через дверь. – Кажется, в Одессе началась новая интервенция.

Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой и нежной дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, «розовоперстую Аврору», – тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта – два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом.

Рядом с пароходами стоял элегантный и длинный, как серая сигара, французский контрминоносец «Лейтенант Борри». Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц.

Мы пошли в порт, но нас туда не пустили. Порт был оцеплен отрядами красноармейцев и наших матросов.

Французские транспорты медленно и осторожно подтягивались к причалам.

Мы узнали, что контрминоносцем «Лейтенант Борри» ко-



мандовал известный и весьма изысканный французский писатель-моряк Клод Фаррер, автор книги «В чаду опиума».

Само по себе это было тоже интересно. Но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов.

С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы и не кофейные сенегальцы и даже не солдаты французского Иностранного легиона, а наши русские солдаты в новенькой, с иголки, защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, – это скрипучие краги из желтой глянцевиной кожи.

Солдаты строились на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских командиров.

Да, через час мы уже знали всё. Это «всё» заключалось в том, что во время первой мировой войны по прихоти Николая Второго во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый Экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель.

Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными француженками, осыпавшими офицеров и солдат цветами.

Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с заливчатской песней:

Чубарики-чубчики, горе не беда!

Потом в России произошла революция, русские солдаты, естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагерь для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве.

В конце концов французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с Советским правительством, отправили под конвоем в Одессу.

Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы.

Но затем произошло нечто совершенно загадочное.

Когда разгрузка была окончена и транспорты тут же отвалили от причалов и в сопровождении контрминоносца «Лейтенант Борри» начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громopodobный оружейный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов.

Транспорты застопорили машины, а контрминоносец развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня: миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом.

На оцепленном Приморском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные и суровые матросы с маузерами на поясах работали молча и быстро.

Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков.

Французы решили одним ударом убить двух зайцев: избавиться от революционных русских солдат, а на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие Врангелю.

Одесские власти узнали об этом от солдат Экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжения из Москвы.

Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе.

Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал д'Ансельм. Даже его союзники – деникинцы – считали, что д'Ансельм глуп, как пробка, и скуп, как Плюшкин.

Прошло два дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это кончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар: трубы транспортов все время дымились.

Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы.

Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эс-

кадрой передал в Одессу радио с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены.

Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой.

В день ухода французских транспортов я пошел на Фонтаны, оттуда было видно открытое море. С обрывистого берега я увидел морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма. Это подходила французская эскадра. Она остановилась; в нескольких милях от берега, дожидаясь своих транспортов.

Транспорты уходили полным ходом. За ними неся, юля и перебегая от транспорта к транспорту, контрминоносец «Лейтенант Борри». Все же одна из наших батарей не выдержала и дала вслед уходящим французам залп шрапнелью.

Я испытал тогда жестокую обиду за Францию и за французов, обиду за великую французскую культуру, за Дидро и Вольтера, Гюго и Стендаля, за Золя и Коро, за Пастора и Делакруа, за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов, Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции и их представителем – надутым, как петух, генералом д'Ансельмом. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго при-

казали бы расстрелять этого генерала за его трусливую под-  
лость.

# «ДЕНЬ МИРНОГО ВОССТАНИЯ»

Электричество в Одессе давно не горело. О нем забыли. Лампочки обросли пыльной корой. Выключатели, если их случайно поворачивали, взвизгивали от ржавчины.

Единственным человеком из нас, который радовался этому, был Володя Головчинер.

– У каждого времени, – говорил он с апломбом, как будто открывал необыкновенную истину, – есть свой стиль. Стиль нашего времени – приближение к патриархальной жизни. Посудите сами, электричество ушло в невозвратное прошлое. Трамвайные рельсы зарастают крапивой. На площадях городов цветет картошка. Из воздуха исчезли последние молекулы копоты. Вместо обуви мы носим греческие котурны, а вместо водки пьем чистую воду. По-моему, это прекрасно. Начинается золотой век.

Однажды мне нездоровилось. Я не пошел в Опродкомгуб и до вечера пролежал у себя в дворницкой. Стояла поздняя весна. Цвели каштаны, и над морем взошел затуманенный месяц.

Я мирно читал при коптилке десятый том энциклопедии Брокгауза и Эфрона, как вдруг произошло нечто непонятное и тревожное – тонкий волосок в электрической лампочке под потолком начал желтеть и, далеко не дойдя до полного накала, остановился и замер. Он залил все вокруг таким

тусклым и неприятным светом, как будто комната превратилась в морг.

Я оцепенело смотрел на лампочку, соображая, почему она горит так тускло. Очевидно, немощный ток с натугой протискивался по ржавым проводам, едва пробивался через пыльные соединения, обмотанные высохшей изоляционной лентой, и застревал в затянутых паутиной механизмах электрических счетчиков.

«В конце концов он разгорится», – уверял я себя, но свет не усиливался, а, наоборот, убывал. Но его все-таки было вполне достаточно, чтобы осветить ряды хмурых профессорских книг в дубовых шкафах.

Я подумал, что неожиданный свет загорелся, конечно, неспроста. Он был загадочным предостережением. Подумал так, конечно, не я один. В Одессе началась скрытая паника. Одесситы поняли, что появление света предшествует неприятностям. Но каким?

На это намекнул мне Торелли. Он постучался и вошел в дворницкую желтый, с побелевшими глазами. Через руку у него было перекинута новенькое женское пальто с обезьяньим воротником.

– Я вас попрошу, – сказал Торелли торопливо, – повесить это пальто у себя на вешалке. На несколько дней. Это пальто моей сестры.

Я был озадачен, но взял у Торелли пальто и повесил в шкаф. Пальто было легкое и пахло духами. Очевидно, после

болезни сестра Торелли Рахиль – еще молодая и миловидная женщина, рыжая от веснушек, – не надевала это пальто ни разу.

– А в чем дело? – спросил я Торелли.

– Дело в логике. – Торелли неестественно хихикнул и потер руки. – Мы с вами прекрасно знаем, что в Одессе угольного штыба для электростанции хватит всего на три ночи. А между тем станцию пустили. Значит, за три ночи что-то произойдет. И это «что-то» обязательно требует электрического света.

– Что может случиться? – растерянно спросил я.

– Я знаю?! – Торелли пожал плечами. – Варфоломеевская ночь! Избиение младенцев! Похищение сабинянок! Последний день Помпеи! Что вам больше понравится. Привет, до завтра!

И он исчез, оставив меня в полном недоумении. В конце концов, ничего не придумав, я лег спать. Выключатель, когда я повернул его, заверещал, но лампочка не погасла. Я начал вертеть выключатель. Он пищал все пронзительнее и злее, но лампочка продолжала гореть. Она даже не мигала. Тогда я влез на стул, обернул лампочку газетой и попытался вывинтить ее. Но она прикипела к патрону и потому лопнула со звуком выстрела и погасла, теперь уже навсегда.

Я лег, не закрывая окон. Гул моря то сонно вкатывался ко мне в дворницкую, то отливал из нее так равномерно, что быстро усыпил меня.



Проснулся я на рассвете. Капли росы собирались на ветках туи за окном. В саду было тихо и пусто. Только в углу, около стены, где всегда стояла старая бочка с известью, чернело нечто большое и бесформенное.

Долго всматривался в эту черную кучу, похожую на копну сена. В куче было что-то пугающее, но я пересилил страх, вылез в сад через окно и подошел к ней.

Куча состояла из нескольких старых, но дорогих шуб. Была шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником, было два старомодных демисезонных драповых пальто, были каракулевая женская шуба и меховой жакет из кенгуру.

Под слоем шуб я нашел низенькую, обитую штофом табуретку на вычурных золоченых ножках. Такую табуретку я видел как-то в театре на «Пиковой даме» под ногами у старой графини.

Я хотел вытащить табуретку, чтобы рассмотреть ее, но не рассчитал своих сил – поднял ее и тут же уронил. Мне показалось, что табуретка налита свинцом.

Я ударил по ней ногой и услышал, как внутри нее, под нарядным штофом эпохи Людовика XIV, звякнуло нечто металлическое. Тайна сгущалась. Но прежде чем заняться ее разгадкой, я побежал за хлебом в ближайшую лавку. Она была открыта только два часа в день. Я боялся опоздать и остаться без хлеба.

Когда я вернулся, то куча шуб оказалась уже прикрытой соломой и старыми листьями так тщательно, что никто бы и

не подумал, что здесь что-то спрятано.

История эта, как все непонятное, начала меня раздражать. Я знал, что ключ от единственной калитки со двора в сад был у Просвирняка, и пошел к нему за объяснениями.

Поведение Просвирняка всегда было для нас своего рода барометром. Если при встрече с Яшей или со мной он отводил глаза, делал вид, что плохо нас слышит, и, разговаривая, перебивал нас и кричал на кухню работнице, бывшей монахини: «Неонила, не лейте так много постного масла!» или еще что-нибудь в таком же роде, то это означало, что положение Советской власти в Одессе в какой-то, даже в самой маленькой степени, пошатнулось.

Если же Просвирняк был настороженно любезен и хохотал неестественным басом, подбирая снизу обеими руками свою черную бороду, то это свидетельствовало о крепости Советской власти.

На этот раз Просвирняк был сдержанно любезен, но глаза у него побелели от злобы. Выслушав мой рассказ о залежах шуб и табуретке, он смиренно, но подчеркнуто ответил:

– Вам, глубокоуважаемый Константин Георгиевич, как советскому служащему, хотя и ограниченной, но все же с некоторой ответственностью за деяния ваших хозяев надлежало бы знать, что с сегодняшнего числа в Одессе объявлен «День мирного восстания». Продлится этот день, по разъяснению властей, четыре дня.

– Я не был еще в городе, – ответил я. – Что это за «День

мирного восстания»)?

– Так вот, попрошу ознакомиться! – Просвирняк положил на стол передо мной серый листок бумаги. Руки его тряслись. – Собственноручно отклеил от стены своего дома вчера в одиннадцать часов вечера.

Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется «День мирного восстания».

В этот день у всех без исключения граждан будут отображены излишки вещей и продовольствия, кроме самых необходимых, указанных в списке.

Я посмотрел этот список. Там было напечатано: «Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней носильной одежды, комплект белья, пару ботинок (кроме сапог), головной убор» и так далее, вплоть до «одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и ста граммов сахара».

«В случае нахождения золота и драгоценных вещей, иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции скрывающие их лица будут преданы суду, как за измену Родине и контрреволюцию».

– Хана! – неожиданно сказал Просвирняк, и я даже вздрогнул. Впервые я услышал из его медоточивых уст крепкое слово.

– Так вот, Даниил Семенович, – сказал я, – будьте добры

забрать из-под моих окон все ваши вещи и спрятать их, где вам будет угодно. Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом.

– Вы глубоко ошибаетесь, Константин Георгиевич, – ответил расстрига нежным голосом и прижал руки к груди. – Напрасно гневаетесь. Две шубы, правда, мои, а табуретку принесла свояченица генерала Ренненкампа. По сердолобию своему не мог отказать, поскольку сам прятал при ней собственный скарб. Войдите в мое положение. Как стемнеет, я все унесу.

– Хорошо, – согласился я. – До вечера так до вечера.

Просвирняк, забыв, должно быть, что он расстрига, воздел руки к небу и сказал вдохновенным и лживым голосом, как с амвона (при этом глаза его на мгновение сверкнули бешеным огнем):

– Братоубийственные времена! Поистине нет предела человеческой скверне и проискам антихриста!

Он опустил руки и продолжал уже обыкновенным голосом:

– Вас я уважаю, но жилец из третьей квартиры, монтер товарищ Гаварсаки, повергает меня в смятение. Он скупает взрывчатые вещества. Когда-нибудь всех нас заберут вместе с ним и поставят к стенке. Ручаюсь головой! Опасайтесь его! Посматривайте, чтобы он не закопал в саду свою дьявольскую пиротехнику. А шубы – это пустое дело. Ну, в крайнем

случае «товарищи» отберут. Я готов ко всему.

Я ушел, нисколько не сомневаясь, что Просвирняк не уберет из сада свои вещи. И я оказался прав. Когда я вернулся к вечеру вместе с Яшей, то куча вещей уже протянулась вдоль ограды целым валом. Вещи так же тщательно были укрыты соломой, как и первая куча, теперь уже казавшаяся мне ничтожной.

Около вала из вещей сидел на венском стуле и дремал почтенный старец с вылинявшими баками. Он выглядел настолько старомодно, что можно было подумать, будто в саду идет съемка фильма из времен Гончарова или Островского.

– Вещи вы, конечно, не убрали, – сказал я Просвирняку. – Ну, да бог вам судья. Но что за персонаж сидит в саду на стуле?

– Страж, – таинственно ответил Просвирняк. – Между нами говоря, вещей понатаסקали со всей Черноморской: уж очень место укромное. Но людей, естественно, пробирает двойной страх. С одной стороны, все могут отобрать власти, а с другой, не ровен час, наскочат одесские налетчики. Вот и решили караулить по очереди. До минования опасности. Товарищ Гаварсаки тоже совался в сад со своей пиротехникой. Но я его не пустил.

– С какой пиротехникой?

– Сулеи хотел спрятать. Двухведерные бутылки с неизвестной жидкостью. Убогий умом человек этот Гаварсаки.

– Нда-а-а! – сказал Яша, ознакомившись с общим поло-

жением в саду и в доме. — Я могу предсказать, что дело у вас окончится хорошенькой катастрофой.

В городе в тот день меня прежде всего поразило невиданное уличное оживление. Особенно бросалось в глаза большое количество детских колясок всех сортов и вообще обилие всяких приспособлений для перевозки мелких вещей, вплоть до навьюченных, как мулы, велосипедов и маленьких деревянных платформ на низеньких колесиках. Среди детских колясок большинство представляло совершеннейшие развалины, связанные рваными веревками.

Весь этот поток детских колясок катился в сторону Греческого базара. Туда же, грохоча, резво бежали подталкиваемые сзади деревянные платформы. Туда же торопились запыхавшиеся люди с узлами и чемоданами. Туда же тащили настольные лампы и швейные машины, грудастые портновские манекены и зубоврачебные кресла.

Могучее это движение происходило в тишине. Особенно удивительно было полное молчание детей в колясках. Все дети, очевидно, спали богатырским сном. Никто из них ни разу не заплакал, не вскрикнул. Кроме того, все эти наглухо закрытые и закутанные в колясках дети были, очевидно, будущими исполинами: коляски прогибались под их неимоверной тяжестью. Колеса скребли по ободранным кузовам.

Стихийное движение колясок длилось весь день. Служащие Опродкомгуба наблюдали за ним из окон. Малейшая остановка или замедление вызывали у зрителей беспокой-

ство. Люди, высунувшись из окон, тревожно окликали людей, толкавших коляски:

– Что там? Не пропускают? Тогда заворачивайте на Пересыпь. Туда придут в последнюю очередь.

– Да нет, пропускают, – неохотно отвечали с улицы. – Тут только одна коляска развалилась и всех задерживает.

– А что в ней? – с живым интересом спрашивали из окон.

– Да банки с халвой, – отвечали с улицы. – Там ее пудов пять, этой халвы. Целое депо!

Как только я пришел в Опродкомгуб, Торелли мне объяснил смысл происходящего в городе передвижения людей и колясок из одного квартала в другой.

Этой ночью изъятие излишков было произведено в районе Греческого базара. Поэтому жители других районов, скажем Вокзального, где изъятия еще не было, свозят к Греческому базару, как в безопасное убежище, свои ценные вещи. А завтра, если очистится Вокзальный район, весь этот поток колясок и людей хлынет обратно, чтобы освободить место для вещей с Французского бульвара.

– Это как на войне, – сказал Торелли. – Вы же знаете, что снаряд редко попадает два раза в одно и то же место. Поэтому, чтобы спастись, лучше всего прятаться в свеженькую воронку. Так вот, наш Греческий базар и оказался такой воронкой.

Всю ночь мы с Яшей не могли уснуть. За окнами шмыга-

ли, как летучие мыши, владельцы вещей, сваленных в саду. При малейшем шуме они будто проваливались сквозь землю.

Не могли мы уснуть еще и потому, что каждую минуту ждали появления отряда, производящего обыски. Никто из нас не знал, когда дойдет наконец очередь до нашей Черноморской улицы.

Поэтому мы с Яшей лежали, прислушиваясь к необъяснимым шумам, долетавшим с улицы и из сада, и развлекались тем, что старались найти причину каждого звука.

Из главного дома слышался тихий гул. То был слитый встревоженный шепот жильцов всех четырех квартир. Но в этом гуле все же выделялись нудные жалобы товарища Гаварсаки. Ему все не удавалось сбить с рук свои сулеи с неизвестной взрывчатой жидкостью.

– Не к добру мы развеселились, – говорил Яша Лифшиц. – Я на вашем месте вытащил бы из вещей в саду эту табуретку с золочеными ножками и выкинул ее к чертям. Забросил бы в соседний двор, что ли? Вы понимаете, что из-за нее вы рискуете головой? Как вы докажете, что она не ваша?

– Так встаньте и выкиньте сами, – спокойно ответил я. – Будете иметь дело со всей оравой владельцев. А мне теперь все равно.

Яша промолчал, но по его сопению я понял, что он начинает злиться.

– Эй вы, представители имущих классов! – вдруг вспы-



лив, прокричал он в окно, за которым испуганно метнулась чья-то грузная тень. – Губернаторы и статс-дамы! Перестанете вы мельтешить у нас под окнами или нет? Спать не дадите с вашим кодлом!

У Яши от гнева поднялся, как всегда, хохолок темных волос на затылке. В саду и в доме после Яшиного крика «воцарилась», как говорится, испуганная тишина. Я начал хохотать, уткнувшись лицом в подушку.

– Вы чего? – накинулся на меня Яша.

– Во-первых, – ответил я, – вы не знаете значения слова «кодло», а во-вторых...

Но я не успел досказать. В комнату без стука вошел со двора товарищ Гаварсаки. Он молча, но с укоризненным видом остановился в дверях. Он даже скрестил на груди руки.

– Вам что угодно, молодой человек? – спросил его Яша. – «Спокойной ночи!»», как говорят в таких случаях хамам.

Но Гаварсаки даже не посмотрел на Яшу. Надо кстати сказать, что Гаварсаки обладал наружностью, которая могла смутить самого невзыскательного человека. Его длинное землистое лицо с вытянутым и несколько отогнутым в стороны черным носом, его маслянистые глаза, обведенные желтыми скорбными кругами, его заплетающиеся ноги и бубнящий голос выдавали неудачника, привыкшего безропотно сносить удары судьбы. Соображал Гаварсаки очень туго, и никогда нельзя было поручиться, что он понял все, что ему говорят.

Гаварсаки продолжал молчать и долго и внимательно, приоткрыв рот, осматривать дворницкую. Потом он наконец произнес:

– Можно бы поставить вот тут, за дверью... Так туда влезет только одна сулея. А их у меня три. В глазах у Яши я увидел испуг.

– Что он говорит? – спросил Яша. – Чего он хочет?

– Или засунуть их в шкаф? – спокойно спросил самого себя Гаварсаки. – Вещи у меня аккуратные. Чистый эфир.

– Какой эфир? – с ужасом спросил Яша и сел у себя на койке.

– Я же вам говорю – чистый. «Этер сульфурикус». Вы что, шутите? За каждую сулею дают три пуда муки и бутылку лампадного масла. Это вам не жук начихал на скатерть. Если найдут, ну, тогда, конечно, вас под ноготь и к стенке! Но в дворницкую к вам они не зайдут. Клянусь жизнью. Это же нежилое помещение, подсобное. На что оно им случилось! А у меня сулеи стоят прямо посередке комнаты, как на сцене. У меня от этого нервозность разыгрывается. Я, товарищи, теряюсь до головной боли.

Яша вскочил, вплотную подошел к Гаварсаки и сказал шипящим, неслышанно злым голосом:

– Вон отсюда, иначе я вышвырну вас за дверь как щенка. Вон!

Гаварсаки с удивлением посмотрел на Яшу, поскреб в затылке и неохотно вышел из комнаты, осторожно прикрыв за

собой дверь. Перед этим он спросил меня:

– Он что у вас? Сильно психический?

Яша запер дверь на ключ, задул коптилку, лег, долго ворочался в темноте и проклинал себя за то, что нелегкая принесла его на Черноморскую улицу.

Я начал засыпать. Станный, несколько резкий запах доходил до меня из глубокой дремоты. Я внезапно почувствовал, что теряю вес и у меня медленно, но верно останавливается сердце.

Оно ударило едва слышно в последний раз, потом затихло совсем без всякой боли и страха, и волна теплой, блаженной свежести окутала меня. Я даже засмеялся от наслаждения.

Тотчас я услышал, как будто из глубины вселенной раздался громopodobный рев Яши Лифшица:

– Вставайте! Скорее! Эфир!

Яша дернул меня за ногу. Я тяжело сел на койке и снова упал на нее. Яша схватил меня за плечи и, шатаясь, подтащил к низенькому оконцу дворницкой.

– Вылезайте в сад! – кричал он и толкал меня в спину. – О, проклятый, сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки! Скорее! Мы пропадем! Скорее!

Я с трудом высунулся в окно. Оттуда кто-то подхватил меня и выволок в сад. Это был Торелли. За мной вылез в окно Яша. В дворницкой стоял сильный, неприятный запах.

– Заклинаю всех господом богом! – рыдающим голосом кричал Просвирняк, воздевая руки к небу. – Не курите здесь

и не зажигайте огня! Покорнейше умоляю! Иначе дом взлетит на воздух. Не подходите к канализационным колодцам. Это смертельно!

Я пришел в себя. Чуть светало. Сад был полон испуганных жильцов. Все они жались к каменной ограде.

Под старой акацией лежала на подостланном одеяле сестра Торелли.

– В чем дело? – спросил я, озираясь. – Был обыск?

– Как бы не так! – ответил мне Торелли фальшивым бодрым голосом. – Бог вместо обыска предпочел сотворить чудо.

Тогда все жильцы вдруг начали, как по команде, смеяться. Женщины качались от смеха, прикрывая рты платками. Мужчины беззвучно тряслись. Торелли хихикал и взвизгивал, а Просвирняк похохатывал, приглаживая бороду. Даже Яша кашлял от смеха и отплевывался.

Мне стало страшно.

– Перестаньте! – крикнул я. – Что случилось?

Оказалось, что в два часа ночи отряд, производивший обыск, дошел до соседнего дома. Тогда обезумевший от страха Гаварсаки схватил свои сулеи с эфиром, вылил их в отлив в уборной и тотчас исчез в неизвестном направлении.

Тяжелые, ядовитые волны эфира хлынули в дом, ворвались по трубам в дворницкую, в соседний дом, начали сочиться сквозь фланцы и расползаться из канализационных колодцев по улице и дворам.

Все население нашего и соседнего дома успело бежать. Сестру Торелли едва вынесли на руках. Отряд отступил, обошел зараженные эфиром дома и, явно торопясь, чтобы не угореть, начал обыскивать дальние дома. К утру он ушел, грозя найти Гаварсаки хотя бы на дне морском и оторвать ему голову.

В тот же день вещи из сада рассосались по владельцам. Они исчезли удивительно быстро и незаметно. Расстрига подмел сад, потом прошел дождь, прибил пыль, смыл все следы ночного смятения, и снова синяя приморская тишина плотно окружила дворницкую и больше уже не исчезала.

Яша вернулся к себе в город. Вместо него ко мне на Черноморскую переехал Володя Головчинер.

Такова уж во все времена человеческая благодарность. Гаварсаки возвратился домой через неделю невредимый, но иссохшийся и очумелый. В квартирах еще пахло эфиром.

И несмотря на то что Гаварсаки спас жильцов дома от обыска, все они дружно обрушились на него. Почти не было дня, чтобы они не рассказывали о нем всяческих смехотворных и глупых историй.

Гаварсаки скреб затылок и безуспешно пытался найти у жильцов хоть каплю сочувствия. Но ее не было. Только Володя Головчинер терпеливо выслушивал его. По когда Гаварсаки уходил, он тоже вздыхал и безнадежно качал головой.

– Нет, такой гражданин, конечно, керосина не выдумает!

# АВСТРИЙСКИЙ ПЛЯЖ

Карантинную гавань защищала от моря высокая стена из бетонных плит. Стена эта переходила в рейдовый мол.

Сильные зимние штормы пробили в этой стене широкую брешь и намыли под стеной со стороны моря небольшой песчаный пляж. Первыми начали пользоваться этим пляжем во время интервенции австрийские солдаты. Поэтому этот очень уютный, теплый и пустынный пляж и> получил название «Австрийского».

До этого пляжа идти из города было дальше, чем до большого Ланжероновского. Поэтому на Австрийский пляж ходили только любители безлюдья. А может быть, и любители той морской старины, какая сохранилась главным образом на гравюрах в пожелтевших журналах. Потому что на Австрийский пляж надо было идти через порт, мимо вросших в землю, разряженных шарообразных мин и окрашенных в желтый и красный цвет буюв, мимо каменных трапов к воде и сигнальных мачт, старых шаланд и бухт истлевшего каната, наконец, мимо загадочного маленького дома на молу с белой башенкой и проржавленным балконом. Первый этаж этого дома был глухой, без окон. Это придавало ему некоторое сходство с фортом или блокгаузом.

Дом покрывала марсельская черепица. Вокруг его флагштока часто пел ветер, а в окне второго этажа за плохо за-

дернутой занавеской виднелись выцветшие карты на стене и сваленные на подоконнике книги. В этом морском доме никто не жил. Если бы мне разрешили поселиться в нем, то я, конечно, счел бы себя счастливейшим человеком на свете.

Я украсил бы этот дом не только новыми картами и книгами, но просквозил бы его морским воздухом, прогрел бы солнечным светом, казавшимся розовым среди сплошной синевы, залегшей вокруг.

Австрийский пляж был местом, как бы созданным для чтения тех книг, какие нужно читать медленно, часто откладывая их, чтобы порыться в песке и невзначай найти осколок горного хрусталя.

Он был прекрасным местом для дремоты. Ветер открытого моря щекотал глаза, и солоноватый кислород долго не уходил из легких, вызывая слабое опьянение.

На Австрийском пляже среди немногих его завсегдатаев я встречал Илью Ильфа (тогда у него не было псевдонима, и все звали его Илюша Файнзильберг). Мне нравилось его спокойное и грустное лицо. Всегда казалось, что какие-то полусны-полурассказы владеют им и потому он часто засыпает на пляже и его приходится будить на закате.

Много лет спустя я прочел в «Записных книжках» Ильфа несколько записей. С тех пор я не могу избавиться от мысли, что все это пришло ему в голову именно тогда, в 1921 году, на Австрийском пляже. Приведу здесь одну такую запись.

«Раньше перед сном являлись успокоительные мысли. На-

пример, выход английского флота, кончившийся Ютландским боем. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находилось в море. А в гаванях было тихо, пусто, тревожно».

«Я долго рассматривал пустые гавани». Тогда в Одессе не было, пожалуй, более привычного и грустного занятия, чем рассматривание пустых гаваней со множеством их подробностей. Они были особенно милы, эти подробности. Спокойный свет, жар полуденного солнца и близость тугой играющей волны придавали им живописность крайнего юга.

В жизни мне пришлось много действовать. Действие все время передвигало жизнь из одного положения в другое, вело ее по разным руслам и поворачивало под разными, подчас причудливыми углами.

Но в этом не было ни суеты, ни лишних разговоров, ни беспорядочного общения с любимыми людьми.

Наоборот, действие соединялось с жадной наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле.

Я невольно подцвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью.

Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из



основ писательской работы. Может быть, поэтому писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа.

Вот это желание рассматривать жизнь сквозь увеличительное стекло сильно захватило меня в Одессе и было, безусловно, связано с шатанием по порту и с безмятежными часами, проведенными на Австрийском пляже.

Время сгладило острые, как зазубрины, горести и беды того времени. Память неохотно обращается к ним. Она предпочитает вспоминать прошлое в его светлом виде, сквозь тогдашние редкие радости. Они стали на протяжении дальнейших лет значительными и вескими. Нашу веру в счастливую долю своего народа не могли разрушить ни тиф, ни голод, ни обледенелая каморка, ни полная неуверенность в завтрашнем дне.

Молодость была непобедима. Она могла превратить Дантов ад в захватывающее зрелище. Опухая от голода, мы все же чувствовали слабый запах первого цветка за окном дворницкой и радовались этому.

Я воспринял и запомнил те грозные годы вместе со многими своими сверстниками как великую и неоспоримую надежду.

Эта надежда присутствовала всегда и во всем. Она проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелые тучи

зимнего одесского неба. И какой-нибудь замерзший, посыпанный солью мороза стебель лебеды во дворе вдруг освещался неизвестно откуда теплым светом, и в этом освещении уже чувствовалось сияющее приближение весны.

Однажды на Австрийском пляже ко мне и Володе Головчинуру подсел маленький картавый человек с томными глазами. В руке у него была выгоревшая морская фуражка, потерявшая всякую форму.

В фуражке этот человек носил целую грудку абрикосов, которыми и стал нас угощать.

Когда мы сообща съели абрикосы, неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты «Русское слово» Евгением Ивановым <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Знакомство с Евгением Николаевичем Ивановым у Паустовского продолжилось в Сухуме в 1922 году и в Москве в 1920-е гг. Затем оно было прервано арестом и ссылкой Иванова, возобновилось уже в послевоенные годы. Стр. 108... однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвал себя выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем Исаак Леопольдович Лившиц родился в 1892 году в Одессе, умер в 1978 году в Москве. Учился вместе с Исааком Бабелем в Одесском коммерческом имени императора Николая I училище. В 1920 году начал работать в газете «Моряк». В том же году замещал И. Э. Бабеля, по его рекомендации, на посту заведующего редакционно-издательским отделом Госиздата Украины: Бабель уехал в Конармию Буденного. В 1921 – 1922 годах продолжал работу в «Моряке». В 1922 году семья Лившицев переехала в Москву. С тех пор и до конца жизни И. Л. Лившиц работал редактором в ряде московских журналов и издательств. Одно время – под руководством Горького. Последние годы был художественным редактором и главным художником издательства «Советская Россия». Кроме того, он занимался педагогической деятельностью в Полиграфическом институте. Особая страница

– Вы, наверное, уже слышали про меня, про Женюку Иванова? – спросил он, улыбаясь и показывая мелкие острые зубы. – Я заработал славу авантюриста. Но все это чистая одесская брехня! К вам у меня два предложения. И не с кондачка, а на полном серьезе.

Он лихо надел на затылок морскую фуражку и похлопал меня по плечу.

– Первое, – сказал он, – состоит в том, что через две недели в Одессе начнет выходить морская газета «Моряк». Вы видите перед собой технического редактора этой газеты. Идите работать ко мне. Я знаю вас понаслышке. Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца и Буссенара. Мы будем печатать ее на специально заказанной бумаге из саргассовых водорослей. Мы зажмем вот в эту жменю, – он сжал в кулак маленькие пальцы, – все моря земного шара и выдавим из них, как сок из ананаса, столько великолепного материала, что через пятьдесят лет за каждый номер «Моряка» коллекционеры будут платить по

---

жизни Лившица – многолетняя, тесная дружба с Бабелем. Путешествуя и часто меняя место жительства, Бабель старался неизменно дарить Лившицу все издания своих книг, чтобы они не потерялись при переездах. Таким образом Лившиц стал для него своеобразным архивариусом. Когда нужно было собрать материалы для переизданий своих вещей, Бабель находил их именно у Лившица. Правда, в коллекции случались и пробелы. Незадолго до ареста Бабель взял несколько книг для составления последнего сборника, и все они были изъяты у него при обыске. Недавно дочь Лившица, Татьяна, рассказала мне о таком эпизоде. Возвращаясь вместе с Лившицем с похорон Горького, Бабель сказал: «Изя, теперь я человек конченный, меня посадят». Через три года его арестовали.

сто рублей золотом.

Это было, конечно, неслыханное вранье. Я смотрел на него. Он так увлекся, что в уголках его губ начала пузыриться, как у детей, слюна.

– Я не шучу, – сказал он, засмеявшись. – Хотите быть секретарем редакции? Согласны?

– Согласен, – ответил я не задумываясь. Но Володя Головчинер отказался работать в «Моряке», сославшись на то, что он не журналист и к тому же заведует отделом в Опродкомгубе.

– Ну и сидите в вашем Опродкомгубе, – пренебрежительно сказал Иванов. – Там вы не сможете достать даже бутылку патоки, чтобы устроить торжественный чай с кукурузными сухарями по случаю открытия редакции. Ведь не сможете! Ну, а второе предложение гораздо проще. Пока то да се, не раздеться ли нам с вами, не пойти ли вон на те скалы и не наколупать ли побольше мидий на ужин? Орудие производства у меня есть.

Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык.

Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень.

Мы с Ивановым разделись и пошли к соседним скалам.

– Мидии, – сказал Иванов, – мы будем складывать в мою фуражку.

Ловля мидий свелась к тому, что я, раздирая себе в кровь

руки, отковыривал мидий от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку.

Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа:

– Женька! Куда полез? Выходи сейчас же!

– Маринушка, – закричал в ответ Иванов льстивым голосом, – да я же только...

– Долго я буду тебя ждать, босяк? – снова закричала женщина, и я наконец увидел ее. – Вылазь, говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал.

– Моя жена, – сказал мне доверительно Иванов, – Марина. Приперлась-таки, стерва. Необыкновенная стерва! Но чудная женщина. Придется идти.

Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огромной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала:

– Приходите сегодня до нас вечером. Я достала шматок свинины. Зажарим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкодливый, как кот. Его с глаз спускать нельзя. Даром что такой маленький и изящный, как балерина, а бабник первостатейный. Журналист он, правда, замечательный, у него к этому настоящий талант, но любит бросаться во всякие аферы и комбинации.

– Замолчи! – сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. – Лезешь не в свое дело, а хля-

стик на брюках оторван.

– Если он вас уже пригласил в «Моряк», – продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, – то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарапортовался. Характер у него кошмарный.

Так на Австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк» и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим рассказом.

# ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО

За две недели, что остались до начала моей работы в «Моряке», случилось несколько событий. Самое печальное из них – смерть сестры Торелли.

Ее звали Рахилью. Она заболела новой в то время болезнью «испанкой». Это был жесточайший грипп с осложнениями.

Торелли перестал ходить в Опродкомгуб. Он сам ухаживал за сестрой, как санитар. Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Торелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся.

Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахили. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки.

Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший запах.

Однажды Торелли надо было пойти в город, некого было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только держаться у самой двери.

Я к тому времени уже ушел из Опродкомгуба и потому

весь день был свободен.

Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке у одесской музыкальной знаменитости – Наума Токаря.

«Знаменитость» прекрасно «ставила руку» своим ученикам и «делала им пальцы», но была человеком практическим и лишенным возвышенности.

«Как вы играете эту вещь! – кричал Токарь какому-нибудь ученику. – Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешен и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот как надо играть эту вещь! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая!».

При этом маэстро сердито отбивал такт ногой. Рахиль редко упоминала о своей скрипичной игре. Сейчас она открыла воспаленные глаза и сказала мне:

– Не говорите ничего Абраму, но я знаю, что скоро умру. И он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша. Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделаются красными, как помидоры, и я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого молодого человека в рубашке «апаш» и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже сто



раз слышала от Абрама. А вы лучше скажите мне, где остров Майорка.

– Зачем это вам?

– Нам читали лекцию про Шопена и сказали, что он там жил. Но потом я ни разу и не вспомнила про этот остров, а сегодня почему-то увидела его во сне. Там с холмов стекают мелкие-мелкие речки с очень чистой и теплой водой и такие широкие, как отсюда до Карантина. Они текут по зеленой траве, но над травой выше воды стоят всякие цветы и все время качаются от течения. Я шла через эти реки босиком, и мне было так приятно, что под ногами мягкая трава.

Рахиль открыла глаза, повернула голову и посмотрела за окно. Над акациями неслись по небу белые ядра маленьких облаков. Было похоже, что невидимые корабли выбрасывали их из старинных бронзовых пушек.

– Здесь, в Одессе, – сказал я Рахили, – живет сейчас поэт Георгий Шенгели. Еще во время войны я слышал в Москве, как он читал свои стихи на одном вечере. Я запомнил из них всего три строчки: «Есть острова, далекие, как сон, и нежные, как тихий голос альта, – Майорка, Минорка, Родос и Мальта...» Дальше я не помню. А Шопен действительно жил на Майорке с Жорж Санд. В заброшенном монастыре. Шопен тогда уже был смертельно болен, и потому его раздражало слишком яркое солнце этого испанского острова.

Я замолчал.

– А дальше? – спросила Рахиль и, не дожидаясь моего от-

вета, жалобно сказала: – Зачем я только родилась в этой семье, где рано или поздно у всех отнимаются ноги? Рыжая уродка! А разве такой я хотела быть? Мне бы качаться на палубе, чтобы ветер хватал меня за колени. Мне бы хохотать и петь. Вам не противно, что я так говорю? Я бы вам и сейчас спела, но грудь у меня стянута, как свивальником.

Она замолчала, перебирая в руках кусок глицеринового мыла.

– Сделайте мне одолжение, – тихо попросила она, – пока нет Абрама. Налейте вон в то блюдечко воды, взмывьте ее этим мылом, а на комодке стоит сухой букет. Достаньте из него пустую соломинку и дайте все это мне.

Я сделал, как просила Рахиль. Она расщепила кончик соломинки, окунула соломинку в мыльную воду и медленно выдула большой мыльный пузырь.

Он оторвался от соломинки, чуть взлетел к потолку и остановился в воздухе, в немного пыльном солнечном луче, переливаясь бледным радужным блеском.

Рахиль прикрыла рот рукой, чтобы не потревожить своим дыханием легкий шар. Я тоже старался почти не дышать.

– Сейчас он золоченый, – сказала Рахиль. – А только что он был красный, как пожар.

Она осторожно пустила второй пузырь, третий, четвертый... Я тоже взял соломинку, начал выдувать пузыри, и вскоре вся комната замерцала от их мимолетных красок и блеска.

Часть пузырей опускалась на пол и лопалась, но большинство их играло с солнцем, летая по комнате и соединяясь иногда в разноцветные созвездия.

Внизу громыхнула на пружине парадная дверь. Дом слегка затрясся. Все пузыри сразу лопнули. На пол посыпалась мельчайшая водяная пыль.

– Спрячьте все! – быстро сказала Рахиль и закрыла глаза. – Я устала и хочу спать. Я ее никогда не увижу, никогда.

– Кого? – спросил я.

– Да эту Майорку. Идите. Спасибо вам. Мне что-то плохо.

В дверях я столкнулся с Торелли. Он узнал, что сестра засыпает, и на цыпочках вернулся в кухню, чтобы вскипятить воду.

А вечером он пришел к нам в дворницкую, сел на порог и неожиданно заплакал. И мы узнали, что Рахиль умерла внезапно, должно быть от разрыва сердца.

Торелли плакал, не вытирая слез, глядя на нас круглыми красными глазами, и сморкался в рваную наволочку.

Я нашел в книжном шкафу у Швиттау наполовину высохший пузырек с валерьянкой. Она почти не пахла. Я накапал ее в банку от консервов (она заменяла мне в то время стакан), сел на порог рядом с Торелли и дал ему выпить.

Он покорно выпил ее, потом упал головой на руки, и плечи его затряслись. Он со свистом втягивал воздух, прижимал к глазам наволочку и прерывающимся шепотом извинялся за беспокойство и за то, что закапал своими слезами мои пыль-

ные рваные брюки из коричневого вельвета.

Врач, установивший смерть, сказал, что если бы не «испанка», то Рахиль могла бы выжить. Торелли рассказал, что она только сильно вскрикнула и сразу же перестала дышать.

Мы все: Яша, Володя Головчинер и я – пошли на похороны. В углу комнаты, где лежала Рахиль, стоял Гаварсаки и мял в руках замасленную кепку. Глаза его не выражали ничего, кроме горестной попытки понять, что происходит.

К выносу пришел Просвирняк. Он зло посмотрел на Рахиль, на ее стройные ноги в деревяшках и вполголоса сделал какое-то замечание синагогальному службе – распорядителю похорон. Служка подобострастно закивал в ответ и крикнул что-то несколькими безобразными старухам, шмыгавшим вокруг черного облезлого гроба. Очевидно, этот гроб, взятый «напрокат», уже сотни раз перевозил на расшатанных дорогах покойников из города на еврейское кладбище.

Старухи принесли откуда-то рваную коричневую шаль и завернули в нее ноги Рахиль. Тогда расстрига с видом человека, исполнившего свой долг, торжественно вышел из комнаты.

– Наглец! – довольно явственно сказал ему вслед Яша. – Распоряжается, как у себя дома.

Но Просвирняк сделал вид, что не слышит Яшиных слов.

– Умоляю вас, – прошептал Торелли, – не трогайте его. Я опасаюсь скандалов.

Я впервые был на еврейских похоронах. Меня поразила

их судорожная спешка. Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей. Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал:

– А ну, герои, кто помоложе! Взяли! Подняли! Разом. Понесли! Осторожнее на поворотах. Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете. Разве это лестница! Это головоломка, накажи меня бог!

Потом мы долго шли по булыжным мостовым, и дроги перед нами подскакивали и неожиданно сильно дергались из стороны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока.

Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже выгорела, несмотря на раннее лето. Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теплую пыль.

Дроги зацепились колесом за ворота кладбища. Их надо было немного осадить, но кляча не хотела переступить назад, и возница начал бить ее по морде кнутовищем.

Торелли закричал на него. Возница сплюнул и сказал:

– Если вы такие нежные, так плакали бы лучше по сестре, чем по худой скотине.

Глаза у Торелли налились слезами. Он затопал узконосыми туфлями цвета апельсиновой корки и начал кричать на одной ноте пронзительным, доходившим до визга голосом:

– Мерзавец! Живодер! Молдаванский гицель!

Торелли был жалок в своем горе и гневе. Возница только

презрительно пожал плечами, поднял задок у дрог, освободил колесо, сел на козлы и поехал крупной рысью, нахлестывая лошадь и не оглядываясь, по длинной аллее кладбища к могиле. Вокруг не было ни одного дерева. Должно быть, их все порубили на дрова. Только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле.

Могила была далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих.

Гроб опустили в могилу. В ней валялось почему-то много битого стекла.

Торелли роздал нищим подаяние – по тысяче рублей каждому (в то время деньги уже поднялись в цене). Нищие, брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. Старуха с гноящимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала:

– Что мне купить на ваши деньги? Дырку от бублика? Так покупайте ее сами, богачи!

Мы ушли подавленные. Торелли не мог успокоиться и всю дорогу до дома время от времени плакал. А синагогальный служка ковылял рядом и говорил:

– Я уже не узнаю людей, месье Блюмкис. Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью.

Несколько дней после похорон Рахили я никуда не выходил, только по утрам вылезал через окно в сад. Просвирняк

держал сад на запоре, и потому там никогда никого не было. Изредка появлялся только сам Просвирняк, но, увидев меня, тотчас поворачивал и уходил, причем даже спина его выражала негодование.

После похорон Рахили мы с Володей Головчинером перестали считаться с Просвирняком. Да и никто с ним уже не считался, даже как с бывшим домовладельцем. Это для него казалось тягчайшим оскорблением. Примерно с тех пор он уже кипел жадной мести, и его вначале скрытые мечты о перевороте и падении Советской власти приобрели характер мании, тяжелой душевной болезни. Чем меньше было надежд на перемену, тем расстрига все больше ссыхался, чернел, и в запавших его глазах появлялся диковатый блеск.

Встречаясь с нами, он не здоровался и что-то бормотал о «жидовствующих интеллигентах» и расплате за невинную кровь Христа.

Безумие его с каждым днем усиливалось. Даже его работница Неонила, безгласная женщина, боялась оставаться с ним одна в квартире и переселилась в маленький чулан при дворницкой. Каждый день она плакала и рассказывала нам, что Просвирняк грозит убить ее за то, что она «перекинулась к евреям и еретикам».

Она же рассказала нам, что вдовец Просвирняк расстригся после Февральской революции, чтобы второй раз жениться (это священникам было запрещено) на богатой греческой негоциантке. Но гречанка перед самой свадьбой испугалась

расстриги, раздумала и уехала со своими капиталами в Грецию.

Однажды ночью я проснулся от звука, будто рядом со мной кто-то тихо скребет железом о железо. Звук шел из кухни. Дверь из чулана, где спала работница, выходила в кухню.

Я неслышно встал и подошел к стеклянной двери в кухню. В саду перед низким окном сидел на корточках Просвирняк и пытался открыть стамеской оконную задвижку.

Он был так поглощен этим занятием, что не заметил меня. Он хитро ухмылялся и что-то бормотал.

Мне стало страшно, и я неожиданно и громко вскрикнул. Просвирняк вскочил и, не оглядываясь, в несколько прыжков выскочил из сада во двор, а оттуда бросился в свою квартиру. Старый подрясник развевался за его спиной, как черные крылья.

Я разбудил Володю. Мы вышли в сад к окну, которое хотел открыть расстрига. На земле около окна лежала ржавая пятифунтовая гиря и немецкая бритва с костяной ручкой.

Володя пошел в милицию. Через два часа за Просвирняком приехала санитарная карета из психиатрической больницы. Два здоровых санитаря связали Просвирняку руки и увезли его. Просвирняк только тихо стонал.

Испуганная работница уехала к родственникам в Тирасполь. Она боялась, что расстрига убежит из сумасшедшего дома и тогда непременно ее убьет.

Вскоре от нас съехал Торелли. Ему неприятно было оста-



ваться в комнате, где умерла Рахиль. Потом по неизвестной причине, должно быть из-за истории с эфиром, арестовали Гаварсаки. А как-то ночью бежал из Одессы вместе со своей семьей некий профессор церковного права, приятель Провирняка, занимавший две квартиры. К лету дом совсем опустел. В нем поселился сотрудник «Моряка» боцман Мионов, рыжий, молчаливый человек родом из Херсона. Мионов ломал на пари одной рукой железные прутья из садовых решеток. Он завел в доме, во дворе и в саду корабельный порядок.

До начала работы в «Моряке» оставалось всего несколько дней. Я прожил их беззаботно.

Я прочел в энциклопедическом словаре все, что было там напечатано об острове Майорка, Шопене и Жорж Санд, попытался вспомнить все, что я читал об этом раньше, и решил, что если что-либо и украшает наше прошлое, то это отдаленность во времени.

Жизнь Шопена и Жорж Санд на Майорке была неустроенной, трудной, недоброй. Жорж Санд в то время уже теряла любовь к смертельно больному музыканту. Он был одинок. Его мучили ветреные ночи и дожди, боли в груди и кашель. Он понимал, что жизнь его сочтена по неделям и он уже не успеет написать ту поразительную музыку, какую он считал единственно достойной своего таланта.

Он думал, что жизнь его насильственно оборвана болезнью. Этого могло бы и не быть. Он тщательно искал в своем

прошлом тот день, когда произошла роковая ошибка. О, если бы человеку дано было понимать эти ошибки не задним числом, когда ничто уже не поможет!

Но это не дано никому. Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить.

В позеленевших от сырости стенах старого монастыря, где в каждой комнате-келье висело чугунное распятие, он роптал на бога. Он боялся высказать свои мысли вслух, но его приводили в смятение рабы человеческие молитвы, взывавшие к богу о прощении грехов. Что значили эти ничтожные и жалкие человеческие грехи перед великим грехом кровопролития, обмана и ненависти, выпавшим на долю людей по милости божьей!

И его, этого бога, он воспевал в величественных звуках, в раскатах органа, в пряном дыхании роз, в нежных, как небесные струны, голосах причастниц.

Из монастырских коридоров тянуло плесенью, тленом. Черный лес шумел за решетчатыми окнами. И внезапно вся эта нарочно отысканная им и Жорж Санд романтика вдруг оборачивалась тоской по самой простой, даже бедной, но теплой – обязательно теплой – литовской комнате с невзрачным на вид роялем. Оборачивалась тоской по простой, деревянной, но удобной постели и жаждой покоя.

Он устал быть гением. Ему это было совсем ни к чему. Он носил это звание или эту кличку, как обузу, приятную только для его близких и окружающих.

Но вот прошло какое-то время, и из его жизни с Жорж Санд на острове Майорка оно тщательно отобрало и выбросило все горькое и превратило эту жизнь в восхитительную поэму о самоотверженности любящих.

Поэма эта коснулась многих сердец, в том числе сердца рыжей еврейской девушки из Одессы, не видевшей в жизни ничего лучшего, чем воздушные пузыри из глицеринового мыла.

Я всюду возил с собой начатую еще в Таганроге повесть «Романтики». Писал я ее с большими перерывами и вообще считал чудом, что до сих пор не потерял рукопись.

Сейчас, в Одессе, я начал писать последнюю часть этой повести. Обычно, когда я втягивался в работу, я дичал: избегал людей, бродил сам по себе, вставал в два часа ночи и писал при копилке, боясь, что Володя Головчинер проснется и тогда мне не избежать ненужных расспросов.

И еще я заметил за собой одну странность, появившуюся во время работы: когда я писал о печальном, я искал горьких и резких впечатлений и таких же обстоятельств, как будто они могли помочь мне писать.

Поэтому однажды с раннего утра я ушел на еврейское кладбище, но вскоре сбежал оттуда, оглохнув от женских воплей, истерик и причитаний, испуганный видом желтых старушечьих пальцев, цеплявшихся за края гробов с такой силой, что их не могли оторвать даже несколько человек, по-

трясенный беззвучно кричащими и рвущими на себе волосы женами, пытавшимися броситься в открытые могилы мужей. Я вернулся в смятении от зрелища ничем не украшенного человеческого горя.

Я дописывал «Романтиков», когда однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвался выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем.

– Только не «ф», а «в», – сказал он. – Не Лифшиц, а Лившиц. Просят не смешивать с Яковом Лифшицем.

– Вы его не любите? – спросил я.

– Нет, почему же, – ответил Лившиц. (С первого же дня знакомства я начал звать его, как и все, Изей.) – Но он недолго проживет в наше время.

– Почему?

– В нем мало юмора.

Изя принес мне записку от Иванова с просьбой прийти завтра в редакцию «Моряка» – пора было готовиться к работе.

С Изей пришел высокий и неправдоподобно худой человек в обмотках, с профилем менестреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб. Он подал мне широкую дружелюбную руку и щелкнул по-военному каблуками. Потом он подошел к шкафу с профессорской энциклопедией, вынул первый том, перелистал его и выбрал все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены

цветные рисунки и карты.

– Эдя! – предостерегающе сказал Изя, но человек с профилем менестреля даже не взглянул на него. Он вынул второй том энциклопедии и вытащил из него всю папиросную бумагу.

– Вот теперь покурим! – сказал он с удовольствием.

– Эдя, это некрасиво, – заметил Изя.

Высокий человек молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску, как-то особенно ловко зажал ее между пальцами, поднес ко рту, и вдруг в дворницкой раздалась тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громоносно-звонкая трель какой-то безусловно трогательной птахи.

– А это, по-вашему, красиво или некрасиво? – спросил высокий человек.

Это было необыкновенно. Я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птахи пересыпался поющий бисер.

– Простите, – вдруг спохватился Изя, – я забыл познакомиться с вами. Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий.

– Вы, как всегда, напутали, Изя, – сказал нарочито хриплым басом Багрицкий. – Следует произносить: «Багратион-Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба». Пошли купаться на Ланжерон!

# РУБКА МЕБЕЛИ

В этой главе придется немного отступить от последовательного описания событий, чтобы дать некоторое представление об удивительном редакторе газеты «Моряк», Евгении Иванове и той обстановке, какая сложилась в редакции.

Должен оговориться, что Союз моряков назначил ответственным редактором газеты капитана дальнего плавания партийца Походкина <sup>3</sup>. Иванов был только техническим редактором, но своим напором, изобретательностью и размахом он так сокрушительно действовал на уже одряхлевшего капитана, что тот почти отстранился от редактуры и предпочел сидеть у себя на даче в Аркадии.

У Иванова, ходившего, как я уже упоминал, в мятой морской фуражке, заштопанной кавалерийской шинели и в деревяшках на босу ногу, был вид прожженного портового жло-

---

<sup>3</sup> Капитан фигурировал в ранних вещах Паустовского под фамилией Косоходов (роман «Коллекционер», рассказ «Инкубатор капитана Косоходова»). В «Повести о жизни» есть эпизод с инкубатором, но фамилия героя другая – Походкин. Действительная фамилия капитана – ответственного редактора газеты – становится ясной из эпиграммы поэта-фельетониста Ядова («Боцман Яков»), помещенной в разделе «Портреты на лету» в номере «Моряка» от 19 апреля 1921 года: ТОВ. КРИВОХОДКИНОтец семьи всей водной нашей,Вершитель райкомводных дел,Как водится, в тюрьме сидел, -И в это время стал «папашей»,На баке, говорят, рожден,Его вскормили моря воды.Хотя и Кривоходкин он,Прет напрямик – игра природы... Упоминание о тюрьме связано с дореволюционной подпольной деятельностью капитана.

ба. Но вместе с тем никто так не очаровывал людей, как этот картавый мальчик с невинными глазами. На вид Иванову было лет двадцать, тогда как на самом деле ему было уже под сорок.

Он был превосходным рассказчиком. Юмор не покидал его во всех, даже отчаянных, случаях жизни. Кроме того, Иванов был очень учтив.

Он не боялся в те годы целовать женщинам руку. Говорили, что однажды его чуть не расстреляли за это в городе Рыбнице на Днестре. Город этот славился красавицами молдаванками.

Иванов действительно работал репортером в «Русском слове» у Сытина. Бывший директор этой газеты Благов, богобоязненный и прижимистый старик, бежавший из Москвы в Одессу, подтверждал это обстоятельство из бурной жизни Иванова. При этом он добавлял, что Иванов обслуживал для «Русского слова» московские бега и крупно играл в тотализатор.

Иванов взял Благова к себе в «Моряк» старшим корректором. Благов оказался возмутительно придирчивым к орфографии. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников сделать пустяковую ошибку, чтобы заслужить его вечное презрение. Его боялся сам Иванов, не говоря о наборщиках. Когда в типографию входил Благов, на них жалко было смотреть. Они теряли самообладание, как гимназисты на выпускном экзамене.

Иванов принадлежал к тому типу журналистов, которые разыщут интересный материал даже в сточной канаве или на заседании общества по страхованию мелкого рогатого скота.

Он не только умел найти и украсить материал <sup>4</sup> (в то время «материалом» называли в газетах всякую интересную новость), но даже предвидел его. Он знал, где его искать, и часто догадывался по известным только ему приметам о том, что может вскоре произойти.

Точно так же он судил о возможных поступках людей по таким ничтожным признакам, что на них никто, кроме Иванова, не обращал внимания. Он знал, от каких мелочей зависят подчас людские побуждения и поступки. Он не боялся настойчиво рыться в этих мелочах, как в корзинке с мусором. И часто находил на дне этой корзины «алмаз или кинжал, заржавевший от крови», или, наконец, «бесстрашное человеческое сердце». Так любил выражаться наш метранпаж, старик Суходольский.

Экспансивный Суходольский кричал во весь голос Изе Лившицу и мне, секретарю редакции, верстая в типографии газету:

---

<sup>4</sup> Иванов... не только умел найти и украсить материал... В газете «Моряк» постоянно помещались так называемые обязательные материалы – разного рода постановления, приказы Они отражали «лик времени» как по содержанию, так и по форме, то есть по языку. Иванов умел «подавать» их, не меняя смысла, но подчеркивая моменты существенно важные, не забывая обращать внимание на их колорит. Распоряжения пестрели угрозами ареста и суда. Например, за то, что вы вовремя не зарегистрировали собаку-ищейку, если она у вас имеется. Или, потеряв работу, не встали сразу на учет.



– Что могло бы получиться из нашего Женьки Иванова? Не знаете? Бальзак, чтоб вы так жили! Бальзак! Или Ломброзо!

Иванов подбирал для газеты сотрудников по своей системе. Их он оценивал по трем качествам. Прежде всего он брал молодых и при этом талантливых, потом опытных, так называемых «тертых», и, наконец, явных авантюристов и вралей.

Последняя категория людей привлекала Иванова, быть может, потому, что он сам являл хрестоматийный, но мирный тип прожектера, того самого, что хотел разбогатеть от одной курицы с яйцом.

Иванов всегда был в дыму проектов. Некоторые из них он осуществил у нас в «Моряке». Это сопровождалось то удачей, то более или менее крупным скандалом. Но большая часть проектов жила всегда несколько часов. Иванов с удивительной легкостью от них отрекался.

Первый осуществленный проект сгоряча показался нам интересным. Во всяком случае, он поражал новизной.

Иванов предложил перед заголовком, где у всех газет стояли слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», печатать другой лозунг, совершенно морской: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!».

На заголовке газеты был изображен Воронцовский маяк, бросивший четыре луча света. Слова о «пролетариях всех морей» были напечатаны на этих маячных лучах на четырех языках: английском, русском, французском и немецком.

Но этот номер «Моряка» с таким удивительным лозунгом был первым и последним. Иванова вызвали в губком. Он вернулся неестественно бледный и потому красивый и приказал, заикаясь, тотчас же разбить пышное клише с морским лозунгом и заказать новое, с тем же Воронцовским маяком, лучами света, но с правильным лозунгом.

Когда Сыла снята блокада и в Одессу стали приходиться иностранные пароходы, то на время их стоянки в порту «Моряк» печатал часть тиража для иностранных моряков на их родных языках.

Честь этого новшества, сделавшего «Моряка» популярным среди иностранных матросов, принадлежала Иванову.

После этого от переводчиков не было отбоя. Однажды в редакцию пришел даже переводчик с абиссинского языка – коричневый, приветливый и очень голодный человек.

Но так как у Абиссинии не было своего флота и никак нельзя было ждать появления в одесском порту пароходов под абиссинским флагом, то от услуг этого человека пришлось отказаться.

Абиссинец вышел из редакции со слезами на глазах. Но у Иванова было доброе и широкое сердце. Он вернул этого человека, расспросил его и узнал, что абиссинец – звали его Варфоломеем – еще до революции присланный в Россию обучаться в Казанском университете, вынужден был потом работать парикмахером. Тогда Иванова осенила удачная мысль – назначить абиссинца штатным парикмахером

при «Моряке», благо редакция буквально через неделю после выхода первого номера превратилась в шумный литературно-морской клуб. Через нее за день проходило множество народа, и потому у кроткого абиссинца быстро создавалась обширная клиентура.

Старшиной всех переводчиков в «Моряке» был знаток английского языка, бывший фрахтовщик и стивидор одесского порта, изысканно вежливый, сияющий от благодушия круглый человек по фамилии Мозер. То был великий знаток хитроумного фрахтового дела, всяческих крючковатых морских договоров и законов, знаток торговых флотов всего мира и морских традиций.

Он донашивал свои элегантные английские костюмы и среди нас, оборванных и отощавших, выглядел как настоящий лорд адмиралтейства.

Переводчицей на французский язык была жена Мозера – высокая и сухая, как англичанка, несколько чопорная и вполне светская дама, что в те годы производило на нас музейное впечатление.

Переводила она необыкновенно добросовестно. От каждой опечатки она заболела, но тоже по всем правилам светского тона. Она лежала, стелая, весь день в своей комнате на старой софе, нюхала последние остатки выдохшейся ароматической соли и прижимала к виску кружевной платочек, смоченный под краном в коммунальной кухне. Там с утра до

ночи властвовала некая тучная соседка «мадам» Зофер.

Эта почтенная матрона по несколько часов подряд оглушительно развивала свои взгляды. Каждую фразу «мадам» Зофер начинала одними и теми же любимыми словами: «Во время оно...».

– Во время оно, – говорила она, – я в рот бы не взяла эту мамалыгу, когда я имела каждый день пшеничный арнаутский хлеб.

Через минуту снова гремел ее голос, но тема ее речи отличалась от только что высказанной сентенции «на сто восемьдесят градусов».

– Во время оно, – говорила она, – мы таки рожали нормальных детей, а вы, моя дорогая, рожаете бог знает кого – просто котят.

Мозер в первое время нашего знакомства стеснялась этих громовых и грубых речей «мадам» Зофер. Но освобождение от условностей происходит быстро, и вскоре Мозер совершенно спокойно говорила, нюхая соль:

– Опять она завела свою шарманку, эта хипесница!

А через месяц после работы в «Моряке» «мадам» Мозер уже свободно изъяснялась на одесско-морском жаргоне.

В «Моряке» мы печатали все, что имело отношение к морю и морской профессии. Погоня за морским материалом всех времен и народов приобрела среди сотрудников характер бешеного соревнования.

Одно время чемпионкой оказалась Мозер. Она переве-

ла прекрасные стихи полузабытого французского поэта-матроса Тристана Корбьера. Мы напечатали их целым циклом, предварив статьей Жюль Лафарга и биографической справкой. В ней было указано, что Тристан Корбьер с юных лет работал матросом, всегда ходил в клетчатом плаще и сабо, успел напечатать в 1873 году в Париже единственную книгу своих стихов и вскоре умер совсем молодым.

В своей статье Лафарг писал с французским изяществом, что стихи Корбьера «полны дерзости, сухой крепости, каламбуров, живости, нервной отрывистости слога и глубоко жалящей и иронической тоски».

Но вскоре боцман Миронов, наш сосед по Черноморской улице, вырвал пальму первенства из слабых рук Мозер. Он достал на старом грузовом английском пароходе, носившем необъяснимо нежное имя – «Сердце Елены» (пароход был обшарпанный, с пятнами сурика на бортах и с неистребимым запахом птичьего помета – гуано), рукописную книгу, которая называлась «Библия моряка».

Она была написана на австралийско-английском морском жаргоне и являлась, по нашему общему мнению, фольклором, не имеющим равного в мире.

В руки к Миронову попало несколько глав этой книги. Их надо было быстро переписать, так как пароход «Сердце Елены» через два дня уходил в Эдинбург. Это случилось, конечно, уже после снятия блокады. Перепиской книги под руководством супругов Мозер и Миронова занималась вся ре-

дакция.

Начиналась «Библия моряка» главой «Большая молитва». Так звали на парусных кораблях плиту песчаника, которой скоблили палубу. Кроме того, были еще камни поменьше. Они назывались по молитвам: «Патер ностер» («Отче наш»), «Аве Мария» («Здравствуй, Мария»), «Матер долороза» («Скорбящая богоматерь») и «Мизерере» («Помилуй нас, господи!»).

Чистить палубу «Большой молитвой» матросов заставляли в виде наказания.

В «Библии моряка» была изображена тяжелая доля матросов на старых парусных кораблях, плававших главным образом между портами Европы и Австралии вокруг мыса Горн.

Отдельные разделы были посвящены несвежей пище, «собачьим вахтам», болезням, гнилому воздуху трюмов и способам борьбы с этим бедствием в тропических водах.

Была глава «О хитростях океана» – обо всем неприятном, что могло ждать моряка в Атлантике и Тихом океане, главным образом в проклятых `грохочущих` сороковых широтах. То были не общие, расплывчатые описания, а рассказы об отдельных случаях, памятных для целых поколений моряков: об ураганах, смерчах, «цунами» – исполинских волнах во время подводных землетрясений, грозах, кораблекрушениях. И конечно, о зловещих предвестниках опасности, в которых верили парусные (да и не одни парусные) моряки: огнях святого Эльма на верхушках мачт, кровавых радугах

и «Летучем Голландце». Говорили, что его снасти, несмотря на штормовые ветры, всегда были затянуты паутиной.

Рядом с этим были напечатаны «Предупреждения матросам» – имена капитанов, к которым нельзя было поступать на корабли из-за зверского их нрава (при этом точно перечислялись все преступления этих капитанов против матросов), списки «грязных собак», так называемых «шанхайеров» – вербовщиков (они работали главным образом в портах Латинской Америки и Китая). Они спаивали матросов и заставляли их в пьяном виде подписывать кабальные контракты с капитанами; список недобросовестных татуировщиков, адреса пивных в главных портах земного шара, где принимали в залог матросские вещи, адреса «бордингаузов» (дешевых гостиниц для моряков), где постояльцам не давали покоя «братья» и «сестры» из Армии спасения.

Знакомство с этой «Библией» несколько разрушало наивные и романтические представления о морском труде.

В самой жестокости этого материала чувствовался накопленный десятилетиями матросский гнев. «Библия моряка» принадлежала к так называемым взрывчатым книгам, хотя и не содержала в себе никаких лозунгов и призывов.

Боцман Миронов несколько затрудняет меня. Я хотел бы сейчас рассказать о нем – здесь это было бы кстати. Но, к сожалению, я уже напечатал рассказ об этом боцмане, а повторять себя по литературным законам нельзя.

Я попытаюсь рассказать о Миронове с такой же точностью, как и в рассказе, но несколько по-иному.

Самыми резкими отличительными чертами Миронова были глубокая молчаливость и дружелюбно-насмешливый взгляд. Взгляд этот он применял только к тем людям, кого считал «стоящими чудаками».

Миронов много плавал на Тихом океане. С биографией его вряд ли справился бы даже такой писатель, как Стивенсон. Да, пожалуй, никто даже из самых настойчивых писателей ее бы не осилил потому, что выпытать у Миронова что-либо о нем самом было невозможно.

Я все же выудил у Миронова некоторые черты его биографии. Она была революционной в самом ясном значении этого слова. Прежде всего Миронов никогда не давал спуска собакам-капитанам и их прислужникам – боцманам. Он верил во всемогущее братство трудящихся и считал, что для революционной работы морская профессия самая подходящая.

– Возможности большие! -говорил он. -Как паровой дым швыряет по ветру, так и мы разносим по всему миру слово «интернационал». Это понимать надо.

Потом я бился два месяца, пока установил, что, во-первых, Миронов видел первый пароход, сделанный из стекла, что, во-вторых, он два месяца просидел в тюрьме в Нью-Орлеане за то, что вступился за негров и устроил драку с полицией («Полисменов мы выворотили наизнанку», – скромно говорил он по поводу этой драки), и что, в-третьих, он



был на архипелаге Кергуелен, носившем у моряков название «Островов Отчаяния».

Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на него рукой.

Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер.

– Вы были на Новой Гвинее? – спрашивал я Миронова.

– А как же! – меланхолично отвечал Миронов. – Конечно, был. Когда там плаваешь («там» – это значило в Меланезии), так эту Гвинею никак не обойдешь. Она всюду торчит поперек дороги.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Места вроде подходящие, – сообщал Миронов с некоторым сомнением. – Только там до того жарко – чистая парильня! Вам бы определенно не понравилось.

– А в республике Перу вы были? – спрашивал я его в другой раз.

– Бывал, понятно.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Гроб! – отвечал Миронов. – Солнце шпарит, как в топке. Дышать абсолютно нечем. А вода в океане, между прочим, холодящая, как лед. Хрен искупаешься!

Мионов долго ждал назначения на пароход и потому прижился в редакции «Моряка». Там он был своего рода справочным бюро по части знания множества пароходов и парусников.

В этом деле никто не мог соперничать с ним, даже сам Мозер. Поэтому Иванов взял Миронова в штатные сотрудники, но долго ломал голову над тем, как его наименовать, пока наконец Изя Лившиц не посоветовал наделить Миронова пышным званием «консультанта по мировому тоннажу».

По вечерам на Черноморской улице «консультант по мировому тоннажу» любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь вполголоса совершенно сухопутную украинскую песню:

Распрягайте, хлопцы, коней  
Та лягайте спочивать!

Он пел, покуривал, благодушествовал, ничего не подозревая и не догадываясь, что уже близок день его славы.

Редакция «Моряка» получила из Москвы, кажется от народного комиссара по иностранным делам, запрос по поводу уведенного белыми торгового флота. Списки уведенных судов составить было легко, но комиссариат просил сообщить ему все сведения о дальнейшей судьбе этих судов: где они сейчас и под каким флагом плавают.

Вызвали Мозера. Он развел руками. Кто мог знать, что

сейчас происходит с этими пароходами? Пожалуй, из случайно попавших в Одессу иностранных газет можно было выяснить судьбу двух-трех пароходов, не больше. Да и то вряд ли.

Мозер предложил созвать в редакции бывших пароходных агентов, капитанов и вообще многоопытных морских людей и выяснить, что удастся, путем перекрестных расспросов.

Так и сделали. Табачный дым из комнаты, где шло это «заседание», вытягивался через окно на бульвар, как из трубы парохода. Многоопытные морские люди сидели в расстегнутых кителях и мокрых тельняшках, вытирали пот, лысины их сверкали, как надраенная медь, голоса охрипли, но пока что была выяснена, и то лишь приблизительно, судьба только одного парохода.

В это время в редакции появился Миронов. Цепляясь за стулья и густо краснея, он подошел к Иванову и сказал ему таким шепотом, что было слышно в соседних комнатах:

– Вы это бросьте, Евгений Николаевич! Так у вас ни фигура не получится. Пусть кто-нибудь записывает, а я буду рассказывать. При первой возможности можете проверить. Жизнь своей отвечу за каждую ошибку.

Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате.

Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола, крепко

смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал:

– Пишите! Пароход «Великий князь Алексей Николаевич». Принадлежал РОПИТу. Продан фирме «Мессажери Маритим» во Францию. Переименован в «Тулузу». Приписан к порту Марсель. Регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены. Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская, хлипкая, но старший помощник прежний, Григорий Павлович Мостовенко.

Среди морских людей произошло движение. Потом пронесся глубокий вздох.

– Пишите дальше, – невозмутимо оказал Миронов. – Пароход «Кострома». Океанский. Добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи в Массову и Сомали с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас «Базиликата». Котлы никак не чищены. Поэтому полный тихоход. Держат его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда – все до одного негры.

Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем, осторожно запевали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна маттиолой.

Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой

волной.

Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью.

Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку и неохотно расходились по домам: хотелось еще поговорить «за родное море и за наши пароходы», знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и царапины на дубовом планшире.

Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть, даже и до Греции. Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта.

Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность.

Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володи Головчинером, «не дурить самому себе голову».

Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока что я расскажу только одну такую историю.

Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фанатической любовью к газете. Для него выше «Моряка» не было ничего на свете.

Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину (она только по привычке сильно кри-

чала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания) и двух своих девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты и какие не перенесла бы безропотно его семья.

Зима 1921 года выдалась в Одессе нордовая, штормовая. Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что ноздреватый камень «дикарь», из которого был построен город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы. Дома и мостовые покрылись пленкой льда и блестели, как эмалированные. Ветер гудел в улицах, обращенных к северу, и нагонял тоску. Только в поперечных переулках он сбавлял свой напор, и там можно было еще отдышаться.

Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах. Море замерзло до Большефонтанского маяка. Льды затерли у входа в порт болгарский пароход «Варна».

Среди книг профессора Швиттау я нашел нетронутый отрывной календарь на 1916 год и повесил его на стенке: все-таки он давал представление о движении времени.

А движение это казалось все более медленным. Время как бы оцепенело от стужи. Между этой стужей и первыми теплыми днями лежал толстый слой пожелтевших и пыльных листков календаря.

В «Моряке» было холоднее, чем дома. Редакция помещалась в большом особняке рядом с Воронцовским дворцом. Стены особняка, расписанные бледными фресками, и разноцветные стекла в окнах, особенно синие, усиливали нашу

морозную дрожь.

Все сбились в одну комнату, где стояла железная «буржуйка» с выведенной за окно закоптелой трубой. Из трубы изредка капал на головы и рукописи жидкий зловонный деготь.

Около «буржуйки» сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон. О ней все говорили, что она «красивая, как итальянка», и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате. Но вскоре и Люсьена тоже нахохлилась и скисла.

Заведующий хозяйством крикливый румын Кынти, ходивший в толстой черной шинели, как в чугунной броне, не достал ни охапки дров. В свое оправдание он распахивал шинель, бил себя по карманам старого френча и кричал, что от Одессы до самой Винницы нет ни одного полена дров, – пусть его повесят рядом с памятником Дюку, если это не так.

– Перестаньте пылить своим френчем! – небрежно сказала ему Люсьена. – И вообще прекратите вашу шмекеррию!

Никто из нас, даже сама Люсьена, не знал значения румынского слова «шмекерия». Кынти пришел от этого слова в исступление. Даже стоять около него представлялось опасным: он весь трещал, хрипел, вертелся, плевался, грозился и каждую минуту, казалось, мог взорваться с оглушительным громом и свистом.

Только через несколько дней мы узнали значение слова «шмекерия». Оно было совершенно невинным. В переводе на русский язык оно означало «жульничество».

Наконец пришел день, когда жизнь редакции вот-вот должна была оборваться и умереть: нельзя уже было держать в пальцах ручку.

Тогда Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова.

Когда я вошел в редакцию, то услышал еще из обледенелого вестибюля веселый стук топоров, треск дерева, крики, смех и гудение огня в раскаленной «буржуйке».

Вдохновенный, бледный от гнева, Иванов командовал стремительной рубкой мебели. Он был разъярен тем, что непосредственный хозяин газеты – Одесский районный комитет водников – не позаботился о топливе для редакции. Иванов шел направо и играл ва-банк.

В самый разгар рубки в редакцию вбежал взъерошенный Кынти, воздел руки к небу и закричал, что сейчас созвано внеочередное, чрезвычайное, экстренное, срочное и пленарное заседание райкомвода, которое обсуждает вопрос о рубке мебели на топливо в редакции «Моряка».

Рубка пошла быстрее. Заседание продолжалось два часа и окончилось, когда весь буфет и вдобавок разошедшийся посудный шкаф были порублены на мелкие дрова. Они лежали у стены в кабинете редактора, а «буржуйка» гудела, как эскадрилья самолетов.

Райкомвод вынес Иванову строгий выговор с требованием, чтобы этот выговор был обязательно опубликован в оче-



редном номере «Моряка».

У нас в «Моряке» работал под псевдонимом «Боцман Яков» одесский сатирический поэт-фельетонист Ядов.

Иванов заказал Ядову фельетон о рубке мебели, поместил его в очередном номере, а постановление райкомвода напечатал петитом в виде эпитафии к этому фельетону.

Я запомнил только один куплет из этого фельетона <sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup> Стихотворный фельетон Ядова помещен в номере «Моряка» от 1 марта 1921 года в разделе «Шканечный журнал». В нем более десяти куплетов. Текст этого фельетона воспроизводится вместе с упомянутым Паустовским эпитафией: *ЖЕРТВА ДОЛГА* *Слушали: О рубке мебели на топлива в редакции газеты «Моряк». Постановили: Выразить техническому редактору газеты, порицание путем печати. (Выписка из протокола объединенного заседания пленума Одесского Райкомвода Веер. Союза раб. водного транспорта от 25 февраля с г.)* Сидел он, жертва Райкомвода, Главу запрятав между плеч, И ключья мертвого комода Бросил в дымящуюся печь. Шептал: «— Я чист, как Пенелопа, Тебя на смерть сам бросил я, И пусть на совести Главтопа Отныне будет смерть твоя. Ты был рожден для службы барской, — Но уж таков судьбы подвох, Что для печати пролетарской Последний издаешь ты вздох. Печать в стране — могучий фактор, Блюсти ее — мой долг прямой Не допущу я, как редактор, Чтоб замерзал сотрудник мой. И пусть сгорит средь общих песен Твоя последняя доска, Зато — да будет интересней И полон номер «Моряка». Я не боюсь суда и штрафа, Пускай гремит сам Совнархоз, Не пожалею стульев, шкафа, Коль «Моряку» грозит мороз. Пусть страшен грохот резолюций, Но дорог мой сотрудник мне — Коль надо, — как Сцевола Муций Сожгу и руку на огне.» Так он ответил... Но так некстати. Он был сражен и пал в борьбе... О, бедный друг, грозят в печати Вдруг порицанием тебе... О, техноред, не пожалевший Себя... О, жертва непогод! — Смотри, — печально уцелевший Взирает на тебя комод!... Ужели он — второй по счету... Ужель умрет и сей комод... — О, нет, я потерял охоту, — Редактор молвил, — пусть живет. И бросил взгляд он быстрым оком На блеск комода своего, И на челе его высоком Не отразилось ничего. Вахтенный

Печать в стране – могучий фактор.  
Блюсти ее – мой долг прямой.  
Не допущу я, как редактор,  
Чтоб замерзал сотрудник мой.

После рубки мебели, или, как говорили по Одессе, «лихой рубки лозы в редакции „Моряка“», одесские морские власти начали относиться к Иванову с опаской и почти не вмешивались в дела газеты.

# ПОЛОТНЯНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

До революции «Моряк» был маленькой нелегальной газетой. Печаталась она в Александрии, в Египте. Оттуда ее рассылали с верными людьми, главным образом с пароходными кочегарами, по разным русским портам.

Выходил «Моряк» редко и больше напоминал листовку, чем газету. Один из работников «Моряка» еще старого, александрийского периода, седоусый старец, слегка повредившийся на конспирации, уговорил Иванова выдать постоянным сотрудникам «Моряка» удостоверения, напечатанные на тонком полотне. Их можно было в случае надобности зашить под подкладку пиджака или пальто.

Мы, сотрудники «Моряка», не видели в этом смысла. Мы знали, что никто из нас не будет послан за границу ни с какими заданиями. Кроме того, мы не допускали мысли, что нам когда-нибудь придется уходить с этими полотняными удостоверениями в подполье.

Посмеиваясь, мы получили эти необыкновенные удостоверения, длинные, как детская игрушка «тещин язык», с печатью. На ней перекрещивались большие адмиралтейские якоря.

Пользоваться этими удостоверениями в обычных услови-

ях было нельзя. Во-первых, нелегко было развернуть и прочесть мягкие тряпочки, а во-вторых, они вызывали полное недоверие у всех, кому бы мы их ни показывали.

В конце концов мы спрятали их на память, а для работы нам выдали обыкновенные удостоверения, отстуканные на машинке Люсьеной.

Вообще с «Моряком» были связаны некоторые странности. Начать хотя бы с того, что газета печаталась не на обыкновенной бумаге, а на обороте разноцветных чайных бандеролей. Бумаги в Одессе не было. Во всяком случае, скудных ее запасов хватало только на главную газету – «Одесские известия».

Выход «Моряка» был разрешен, но печатать газету оказалось не на чем. К счастью, Иванов узнал, что на одесской таможне лежат большие запасы никому сейчас не нужных царских чайных бандеролей.

Эти бандероли были отпечатаны на листах тонкой, просвечивающей бумаги размером в развернутую газету. Одна сторона этих гляцевитых листов была совершенно чистой. От краски бандерольная бумага не промокала.

Бандероли были разных цветов, в зависимости от сорта чая. Цвета почему-то выбирались бледные: сиреневые, желтоватые, серые и розовые.

В дореволюционное время бандерольные листы разрезались на узкие полоски. Их и наклеивали на пачки с чаем. На каждой такой полоске был обозначен сорт чая, его вес и от-

печатан русский государственный герб – маленький двуглавый орел.

Вот из-за этих-то орлов нам долго не соглашались выдать бандероли. Иванов терял голос, доказывая, что печатание газеты на бандеролях ни в какой мере не является монархической пропагандой.

Мы старались выпускать газету разного цвета, в соответствии с разными днями недели. Например, по вторникам всегда сиреневую, а по средам – всегда розовую и так далее. Это довольно хорошо нам удавалось.

В исключительных случаях, для так называемых праздничных номеров, нам выдавали белую бумагу. Белой ее можно было назвать только в полном мраке. То была серая, рыхлая, очень толстая бумага, похожая на оберточную, прослоенная широкими и тонкими древесными стружками (даже со следами годичных слоев).

Краска на такую стружку почти не ложилась, и потому праздничные номера выглядели рябыми. Буквы на этой бумаге не отпечатывались, а выдавливались, как в книгах для слепых.

Но нас не пугала ни серая бумага, ни плохая краска. Из-за этого мы любили свою газету больше, чем если бы она была прилизанной и нарядной.

Мы вкладывали в работу много пыла, труда и выдумки. Поэтому лучшим вознаграждением для нас, сотрудников «Моряка», была его популярность. Газета расходилась мгно-

венно. Номера «Моряка» буквально рвали из рук.

Кроме полотняных удостоверений и бандерольной бумаги, у «Моряка» была еще третья особенность – множество преданных газете сотрудников, не получавших ни копейки гонорара. Они охотно довольствовались ничтожными выдачами натурой.

Выдавали все, что мог достать Кынти: твердую, как булыжник, синьку, кривые перламутровые пуговицы, заплеванный кубанский табак, ржавую каменную соль (она тут же, в редакции, таяла, выпуская красный едкий тузлук) и обмотки из вельвета.

Эти блага распределяла между нами бурная Люсьепа. В ответ на жалобы она только насмешливо пела, подражая каскадной певице и отбивая лихой такт деревяшками:

Терпи немного,  
Держи на борт!  
Ясна дорога  
И близок порт!

Все, конечно, терпели и не роптали, даже на вельветовые обмотки.

Иванов выдал шестьдесят полотняных удостоверений постоянным сотрудникам газеты.

Кроме постоянных сотрудников, у «Моряка» было множество рабочих корреспондентов и друзей газеты – тех лю-

дей, что в наше время зовутся «болельщиками».

Рабочих корреспондентов сначала было больше всего в Одессе и в ближайших портах – Очакове, Николаеве, Херсоне, Овидиополе, Збурьевке и Станиславове. Но по мере освобождения от белых Черноморского побережья число рабочих корреспондентов росло. Вскоре они появились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Бердянске, потом в Новороссийске и по Кавказскому побережью, наконец, в Крыму.

Одесские рабочие корреспонденты – от капитанов дальнего плавания до кочегаров и гальюнщиков – собирались в редакции, как в своем клубе <sup>6</sup>. Весь день бурлил кипятильник, весь день Люсьена заваривала морковный чай, и гул голосов, густой кашель курильщиков и зычный смех раскачивали волнами дымно-табачный воздух.

---

<sup>6</sup> Передавая характер «клубных разговоров» в редакции, Паустовский как бы сам комментирует происхождение названия этой книги как «времени больших ожиданий». Такие живые контакты с корреспондентами на местах и вообще со всеми заходящими в газету моряками, рабочими и другими посетителями всячески поощрялись. Об этом говорят и объявления, периодически появлявшиеся в газете: *ТОВАРИЩАМ ВОДНИКАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В ОДЕССУ Редакция просит всех товарищей-водников, прибывающих по разного рода делам в Одессу из других портов, обязательно заходить в Редакцию в будние дни, с 1 ч. до 4 ч. дня по правительственному времени. Просьба эта относится ко всем товарищам, как делегированным в Одессу с мест, так и прибывающим сюда с приходящими судами. Редакция просит также предоставлять ей те материалы, которыми располагают прибывающие товарищи – специальные издания, брошюры, а равно и газеты (общесоветские и профессиональные), издающиеся в других районах. Это объявление помещено в «Моряке» дважды – 4 и 7 апреля 1921 года.*

Что касается постоянных сотрудников, то они представляли шумное, пестрое, насмешливое и живописное общество.

Иногда в этот редакционный «клуб» заходили старики (так мы называли всех, кому было больше сорока лет). Заходил знаменитый подпольщик во времена французской оккупации Одессы, старый большевик Ачканов, друг «Моряка» и его придирчивый покровитель; заходил седой и утомительно вежливый писатель Семен Юшкевич; но главным образом в «клубе» собирались моряки и журналисты – народ нетерпеливый и горячий.

«Научитесь работать и ждать, – говорил нам изредка Ачканов, прислушиваясь к нашим разговорам. – Социализм не упадет вам прямо в карман, как финик с пальмы».

Мы прекрасно понимали, что для революционных преобразований нужно время, но все равно нам хотелось, пропуская трудные и напряженные годы, говорить о конечном результате революции, о победе и счастье.

Иногда мы досиживались в «клубе» до утра, и золотое свечение неба на востоке невольно казалось нам, поэтически настроенным юношам, отблеском приближающихся прекрасных времен, как бы отблеском недалекого золотого века.

Золотое свечение неба сливалось с золотым блеском утреннего моря. Даже степи по ту сторону Одесского залива, за Дофиновкой, светились от солнца и, казалось, готовились к празднику.

О чем только не говорили в «клубе»! О восстании «По-



темкина» на Тендре, о расстреле революционного крейсера «Очаков» в Севастополе, об «Острове казненных» – Березани, о свойствах херсонских шхун-«дубков», о знаменитых бахчах за Санжейкой, о лучшем способе протирания маячных стекол, о ходе кефали, о греко-турецкой войне, о дошедшей до Одессы книге Барбюса «Огонь», о ремонте плавучего дока, о том, как делать брынзу и как стрелять из трофейных австрийских винтовок системы Манлихера.

Эти разговоры за морковным чаем были своего рода революционной, литературной, морской и бытовой энциклопедией. Но она была богаче любого, самого лучшего энциклопедического словаря, потому что мы слышали живой, образный, просмоленный и точный язык со множеством его великолепных интонаций.

То были россыпи языка, и потому, очевидно, молодые одесские писатели, ставшие со временем знаменитыми, почти все время проводили в этом революционном «клубе». Особенно часто там бывал Эдуард Багрицкий.

Невозможно рассказать здесь обо всех сотрудниках, хотя они этого и заслуживают. Придется остановиться только на некоторых, почти наугад, без выбора.

В «Моряке» было два фельетониста: бойкий одесский поэт Ядов («Боцман Яков») и прозаик Василий Регинин.

Ядов, присев на самый кончик стула в редакции, торопливо и без помарок писал свои смешные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одесса, а через ме-

сяц-два они иной раз доходили даже и до Москвы.

Ядов был по натуре человеком уступчивым и уязвимым. Жить ему было бы трудно, если бы не любовь к нему из-за его песенок всей портовой и окраинной Одессы. За эту популярность Ядова ценили редакторы газет, директора разных кабаре и эстрадные певцы. Ядов охотно писал для них песенки буквально за гроши.

Внешне он тоже почти не отличался от портовых людей. Он всегда носил линялую синюю робу, ходил без кепки, с махоркой, насыпанной прямо в карманы широченных брюк. Только очень подвижным и грустно-веселым лицом он напоминал пожилого комического актера.

Ядов в Одессе был не один.

Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский.

Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Текст этой песенки сохранился в бумагах Паустовского. Прежде чем воспроизвести его, нужно объяснить несколько чисто одесских слов и выражений: «Губтрамот» – губернский трамвайно-моторный трест, ведавший общественным транспортом; «Эс тут цех ойшех» (идиш) – «Что делается, что творится!»; чебекс, гутес – еврейские национальные блюда; «Шпиглис-ин-глигит» – по-видимому, песенка, танец; «Штил, майнес киндерс! Гейде...» – Тише, дети! Идет... (идиш); фрейлехс – еврейский свадебный танец. Немудрая эта песенка пользовалась огромной популярностью. Она стала веселым «гимном» нелепице тогдашней жизни. В ней, как говорили одесситы, удалось отразить «полный кавардак эпохи». СВАДЬБА ШНЕЕРСОНА Ужасно шумно в доме Шнеерсона, Эс тут цех ойшех, прямо дым идет, Там женят сына Соломона, Который служит в Губтрамот. Невеста же – курьерша с финотдела – Сегодня разрядилась в пух и прах, Фату-

Ужасно шумно в доме Шнеерсона...

Она обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона (под гром чванливого марша) всех домовых властей:

Сам преддомком Абраша Дер-Молочник  
Вошел со свитою, ну прямо словно царь!  
За ним Вайншток – его помощник  
И Хаим Качкес – секретарь.

---

мешковую наделаИ деревянные на ногах.Глаза аж прямо режет освещенье,Как будто бы большой буржуйский бал,А на столе есть угощенье,Что стоит целый капитал.На блюдечке лампадка с керосиномПод потолком безжалостно коптит,А рядом баночки с бензином,Стакан с подсолнечным стоит.А кушанья разложены красиво,Есть мамалыга, прямо словно кекс,Повидло, хлеб с *коператива*.Из ячной – разные чебекс.Бутылочка с раствором сахараина,Из гутеса сушеного настой,Картошек вареных корзина,Стаканы с зельтерской водой.Все гости собрались в полном сборе:Начхоз, комслужб и учрежденский врач,Машинистки, контролеры,И даже сам замзавпомнач.На подоконнике три граммофона:Один мазурку бешено хрипит,Другой – вертюру из *Манона*,А третий – «Шпиглис-ин-глигит».И пляшут гости все в восторге диком,От танцев валится почти что дом,Как вдруг вбегают старший дворник с криком:«Штил, майнес киндерс! Гейде преддомком!»Сам преддомком Абраша дер-МолочникВошел со свитою, ну, точно царь!За ним Вайншток, его помощник,И Хаим Качкес – секретарь.Все преддомкому уступили место.А сам жених торжественно привстал:– Знакомьтесь, преддомком – невеста, — Абрам Клауханес, – ему тот отвечал.Но преддомком всех поразил, как громом,Ужасный получился вдруг скандал,– Я не пришел к вам, как знакомый! –В ответ он жениху сказал.– Скажите, кто на брак дал разрешение?– А кто ж теперь вообще его дает?– Я налагаю запрещение,Чтоб завтра был мене развод!Замашки у дачкома были грубы,И не хотел жених ему смолчать,Он двинул преддомкома в зубы,И стали фрейлехс танцевать!

Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как и продолжение ее – «Недолго длилось счастье Шнеерсона», – мог написать только природный одессит и знаток окраинного фольклора.

Почти все местные песенки были написаны безвестными одесситами. Даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» – Жора со Стеновой улицы или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».

Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город.

Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий.

Так, например, песенку «Ростислав» и «Алмаз» – «за республику, наш девиз боевой – резать публику!» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ль я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину!» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно.

Я помню, как вся Одесса пела «Мичмана Джонса», потом «Эх, хмурые будни, осенние будни...», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню», «Вот Маня входит в залу».

После этого пошли уже более поздние песни, вроде зна-

менитой бандитской:

Губернский розыск рассылает телеграммы,  
Шо город Харьков переполнен из ворами!  
Шо наступил критический момент  
И заедает вредный элемент.

Эту песенку можно было петь без конца, потому что имена городов менялись в ней по желанию исполнителей-Харьков, Киев, Ялта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка.

Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он заметно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох.

Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные одесситы, любители этих песенок, те, кого еще недавно называли «жлобами», спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов.

Сражались и старые рыбаки и морские люди, которым не хватало места на кораблях. Сражались отчаянно потому, что за их спиной была Одесса, город, где труд никогда не чурался веселья, город неутомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны.

И естественно, что после войны родились новые песни о героизме одесских людей и их неизменной любви к своему городу.

Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуме.

Однажды я неожиданно встретил на батумском приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу, и что-то чертил тростью на песке.

Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу и вместе пошли пообедать в ресторан «Мирамаре».

Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином «Изабелла». На эстраде оркестр (тогда еще не существовало джазов и мало кто слышал даже про саксофон) играл попури из разных опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова:

Купите бублики  
Для всей республики!  
Гоните рублики  
Вы поскорей!

Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки одесский поэт Ядов.

Оркестранты встали, подошли к нашему столику. Дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загремел под дымными сводами ресторана.

Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и на-

чали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином. Они пили за его здоровье и произносили замысловатые то-сты.

Ядов был растроган, благодарил всех, но шепнул мне, что он хочет поскорее уйти из ресторана.

Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шел он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой.

Ядов показал мне тростью на гряде облаков и неожиданно сказал:

И, как мечты почившей природы,  
Волнистые проходят облака...

Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.

– Это Фет, – сказал он. – Поэт, похожий на раввина из си-нагоги Бродского. Если говорить всерьез, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в сти-хах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хох-мач. Никто меня не учил, что во всех случаях надо беше-но сопротивляться жизни. Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней спину. А теперь поздно. Теперь лирика течет мимо меня, как река в половодье, и я

могу только любить ее и завистливо любоваться ею издали. Но написать по-настоящему не могу ничего. Легкие мотивчики играют в голове на ксилофоне.

– Но для себя, – сказал я, – вы же пишете лирические стихи?

– Что за вопрос! Конечно нет. У меня, слава богу, еще хватает ума и вкуса, чтобы понять, что в этом отношении я конечный человек. Вот, говорят, люди сознают свою талантливость и гениальность. А я сознаю беспомощность. Это, пожалуй, тяжелее. Вы не помните, кто из замечательных немецких поэтов в одно прекрасное утро сел к столу и вдруг написал паршивенькие стихи? Мозг иссяк. Оказывается, этот поэт небрежно и просто преступно обращался со своим мозгом. После этого страшного утра он уже не написал ничего годного, даже для бульварной печати. Он переменял профессию и начал варить ядовитую жидкость от клопов. Хоть маленькая польза. Для человечества.

– Грех вам так говорить, Яков Семенович, – сказал я. Я был искренне огорчен его словами.

– Милый мой, это все давно уже обдуманно и передумано. Я не отчаиваюсь. Я раздарил свой талант жадным и нахальным торгашам-антрепренерам и издателям газет. Мне бы дожить без потерь до сегодняшнего дня – я, быть может, написал бы вторую «Марсельезу». А вам спасибо хоть на добром слове.

Мы распрощались. Первые тяжелые капли начали падать



из непроглядной темноты. Я быстро пошел к себе, прислушиваясь к ровному шуму подхлотившего с моря дождя.

Больше я не встречал Ядова, но запомнил его лицо печального клоуна с глубокими складками около губ и тоскливыми глазами.

Василия Александровича Регинина, или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.

Я увидел его впервые в Одессе, в редакции «Моряка»<sup>8</sup>. До этого я много слышал о нем от Яши Лифшица, Благова,

---

<sup>8</sup> Никита Алексеевич Брыгин, державший в своих руках не только личное дело К. Г. Паустовского, сотрудника Опродкомгуба, но и обстоятельно ознакомившись с архивом этого учреждения, выяснил чрезвычайно интересные детали. Во-первых, Опродкомгуб расшифровывается как Одесская губернская особая комиссия по снабжению Красной Армии продовольствием. Честно говоря, я до семидесятых годов – до тех пор, пока сам не увидел блеклые фотокопии документов, – находился в полной уверенности, что эта аббревиатура целиком выдумана отцом, чтобы подчеркнуть особую специфику того времени и моду на умопомрачительные, нелепые сокращения. Во-вторых, он доподлинно выяснил, что знакомство К. Г. Паустовского с В. А. Регининым состоялось раньше «Моряка», – они почти три месяца вместе работали в одном отделе Опродкомгуба. Лишь в апреле 1920 года Регинин назначается заведующим редакцией еженедельной экономической газеты «Вопросы продовольствия», которую отдел, возглавляемый Паустовским, регулярно обязан был снабжать текущей информацией. Более того, они одновременно в феврале 1921 года уходят из Опродкомгуба в «Моряк». Еще одна деталь – Виктор Финк, будущий автор романов «Иностранский легион» и «Судьба Анри Ламбера», поступает в информационный отдел Опродкомгуба одновременно с К. Г. Паустовским. В «Повести о жизни» он фигурирует под именем Виктора Хвата, попутчика по теплушке поезда Киев – Одесса.

Евгения Иванова и других старых журналистов.

Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, которая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стенли, отыскавший в джунглях Африки Ливингстона из чисто спортивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.

До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные «желтые» журналы вроде «Синего журнала» или такие журналы на всеобщую потребу, как «Аргус» или «Хочу все знать». Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.

Серьезный, «вдумчивый» читатель привык к скучноватому, но строго «идейному» «Русскому богатству», к солидному «Вестнику Европы», к «Ниве» с ее прекрасными приложениями, к «Журналу для всех», наконец, к передовой «Летописи». Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.

Число «желтых» журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в «Синем журна-

ле» на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.

Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в «Синем журнале» из номера в номер.

Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногсшибательное рекламное занятие.

Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинезелли редактор «Синего журнала» Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожными и благополучно выйдет из клетки.

Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в «Синем журнале» в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за «Синим журналом».

В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинезелли был набит людьми до самого купола. Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.

Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.

Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.

Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брендспойтами, бледные служители.

Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.

В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали бешено их трясти и выламывать.

Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брендспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы.

Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.

Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии – себя с тиграми. «Тогда, – сказал он, морщась, – я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж „Синего журнала“ до гомерических размеров».

Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у

него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.

После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал «Тридцать дней», один из интереснейших наших журналов.

Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.

В «Тридцати днях» он первый напечатал «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли «воздержаться» от печатания этой удивительной, но пугающей повести.

В «Тридцати днях» Регинин собрал лучших писателей и поэтов и всю талантливую тогдашнюю литературную молодежь (сейчас это уже все маститые писатели и даже «классики»).

С легкой гордостью Регинин говорил, что сотрудниками «Тридцати дней» были все без исключения писатели и поэты тридцатых годов. В этих словах не было преувеличения. Подобно тому как все дороги ведут в Рим, дороги всех писателей проходили через «Тридцать дней», особенно писателей молодых, начинающих. Недаром до сих пор писатели шутливо говорят:

Старик Регинин нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил...

Самая манера работы (или, как принято говорить, «стиль работы») Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.

Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом:

«Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей», выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.

Регинин прожил большую и разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.

Несколько лет назад Регинин умер. Он умирал тяжело, но мужественно. В мужественности его последних дней на земле был итог его жизни, очень беспокойной, кипучей, отданной журналистике и искусству, жизни человека, который больше всего на свете любил сенсацию, литературу, театр, цирк и дружбу с талантливыми людьми.

Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в «Моряке»: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой,

шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами.

# ПОХИЩЕННАЯ РЕЧЬ

В середине апреля, к вечеру, когда за окном редакции зеленел воздух и мерно мигал красным огнем Воронцовский маяк, ко мне в комнату осторожно вошел Изя Лившиц. Он тихо прикрыл за собой резную дверь (на ней были выточены из дерева тяжелые кисти винограда и гирлянды роз), на цыпочках подошел к столу и сделал классический жест, призывающий к молчанию, – прижал указательный палец к губам.

Изя тяжело дышал и был чрезвычайно взволнован. В редакции уже никого не осталось, все разошлись, кроме абиссинца Варфоломея. Поэтому поведение Изи показалось мне неестественным.

– Ну, выкладывайте! – громко сказал я ему. – Что случилось?

Изя сделал страшные глаза, стиснул меня за плечо и едва слышно, одним только дыханием, прошептал:

– Молчите. И слушайте! – Он рассказал мне, изредка откидываясь и глядя на меня победоносно и испытующе, что только что заходил в типографию Одесского губкома и увидел там...

Изя задохся от волнения. Он замолчал, неловко скрутил папиросу, закурил, затянулся и только после этого рассказал о том, что он увидел в типографии губкома.

А увидел он набор недавно произнесенной Лениным в



Москве речи о новой экономической политике. Речь была набрана в виде брошюры, но еще не отпечатана. На первой странице перед текстом стояла надпись о том, что речь не подлежит оглашению и печатается на правах рукописи, то есть для небольшого числа посвященных.

Неясный слух об этой речи уже третий день бродил по Одессе. Но никто ничего толком не знал. Мы у себя в редакции знали только одно: что речь была произнесена и, конечно, напечатана во всех газетах Российской Федерации. Но в Одессе ее почему-то скрывали от населения.

Мы были уверены, что в этом виноваты работники Одесского губкома. Очевидно, они не были согласны с основными положениями ленинской речи. Впоследствии так оно и оказалось.

С другой стороны, нам, беспартийным, – Иванову, Изе и мне – в те времена трудно было разобраться в этом. Мы ничего толком не знали. Мы были только глубоко возмущены тем, что от народа прячут ленинские слова. Это мы считали величайшим преступлением. Речь надо было достать и напечатать во что бы то ни стало.

Мы пытались добыть эту речь, но из этого ничего не вышло. В губкоме нам с усмешкой ответили, что мы напрасно интересуемся делами, которые нас не касаются.

И вот Изя Лившиц случайно увидел эту речь. Набор лежал в стеклянной кабине директора типографии. Директор куда-то на минуту отлучился. Прочсть речь Изя не смог: в

типографии не было видно ни одного оттиска, да и задерживаться было нельзя. Изя забежал туда договориться с директором насчет клише для «Моряка». Он, конечно, не показал виду, что заметил набор ленинской речи, и тут же ушел.

– Мы должны или напечатать эту речь, – сказал Изя, – или признать себя последними трусами и слякотью. Ни трусом, ни слякотью я быть не хочу. И вы тоже. Поэтому слушайте: есть гениальный план! Наш метранпаж Суходольский три дня в неделю работает у нас, а остальные три дня – в типографии губкома. Там он свой человек. Надо его уломать, чтобы он ночью выдал нам готовый набор ленинской речи часа на два, на три. За это время мы успеем привезти набор в нашу типографию, отпечатать на вкладке к «Моряку», смыть краску и увезти обратно. Пошли к Иванову. Он один может уговорить Суходольского.

Мы тотчас пошли советоваться к Иванову. Он жил далеко, около Французского бульвара. Услышав о речи Ленина, Иванов побледнел и начал заикаться. Это было у него признаком страшного волнения.

С Ивановым мы пошли на квартиру к Суходольскому, в старый дом из выветренного песчаника. Мы с Изей ждали в подворотне. Мне казалось, что секундная стрелка на моих часах была намазана клеем. Она едва тащилась по циферблату, и каждая секунда давалась ей с величайшим трудом.

Время тянулось, и дело казалось проигранным. Разве такой ожиревший боров, как Суходольский, согласится на

риск! Да никогда! Изя от досады несколько раз бил изо всей силы ногой по стене, стараясь сорвать на ней свое нетерпение.

Наконец Иванов вышел вместе с Суходольским. Глаза у Суходольского блестели, и он сказал нам таинственным шепотом: «Ай, босяки! Ай, умницы!» Такими словами Суходольский всегда выражал свое восхищение.

Оказалось, что сторожем при типографии губкома работает тесть Суходольского, «бриллиантовый старик».

Суходольский охотно взял на себя всю операцию похищения набора.

Все было сделано быстро и бесшумно. Мы вместе с Суходольским и сторожем незаметно вынесли тяжелый свинцовый набор речи, уложили на извозчика и поехали к нашей типографии. Там Иванов уже все подготовил: достал из склада бумагу и задержал на ночь надежных печатников. (Очередной номер «Моряка» уже допечатывался, и все наборщики давно разошлись.)

На общем совете мы решили напечатать речь отдельной вкладкой. Но брошюрный текст был шире нашего, газетного, и потому на вкладке помещалось не шесть колонок, как на странице «Моряка», а четыре, и сбоку еще оставалось большое пустое поле.

Но думать было некогда. Набор заложили в машину. Суходольский набрал заголовок. Машина тихо загремела и зашуршала листами бандеролей, печатая историческую речь.

Мы жадно читали ее при свете кухонной керосиновой лампочки, волнуясь и понимая, что история стоит рядом с нами в темной этой типографии и мы тоже в какой-то мере участвуем в ней.

Вкладку отпечатали, с набора тщательно смыли краску, отнесли набор на извозчика, и мы с Изей отвезли его обратно в типографию губкома и положили точно на то же самое место, где он лежал.

Никто нас не видел, кроме молчаливого сторожа. Мы не оставили никаких следов.

Домой идти не хотелось: через час должен был начаться рассвет. Мы были взволнованы и потому пошли в редакцию.

Варфоломей открыл нам дверь, обрадовался и поставил на печурку чайник.

Мы пили чай, сидя на кипах бандерольной бумаги. Богиня Аврора едва проступала во тьме своим розовым пыльным хитоном.

Все мы были втайне горды тем, что завтра ленинская речь станет известна всей Одессе. Никто из нас не думал о последствиях дерзкого нашего поступка, хотя мы и понимали, что последствия могут быть для нас очень тяжелыми. Только метранпаж Суходольский качал головой и время от времени говорил, что на всякий случай хорошо бы незаметно смыться из Одессы.

А наутро 16 апреля 1921 года старые одесские продавцы

газет – скептики, мизантропы и склеротики – пошли торопливо шаркать деревяшками по улицам и кричать хрипучими голосами:

– Газета «Морак»! Речь товарища Ленина! Читайте все! Только в «Мораке», больше нигде не прочтете! Газета «Морак»!

Как мы ни бились, но за все время существования «Моряка» не могли научить газетчиков кричать правильно. Они считали это требование нашим капризом, просто самодурством редактора и говорили: «Какая вам разница! Мы же продаем вашу газету, как никакую другую!».

Номер «Моряка» с речью разошелся в несколько минут.

Одесса загудела, как потревоженное гнездо.

Мы ждали неприятностей и были готовы к ним. Но никаких осложнений не случилось, если не считать моей встречи на Греческой улице с секретарем губкома.

Красный от гнева, он мчался навстречу, потрясая номером «Моряка». Поравнявшись со мной, он остановился и крикнул:

– Украли! Наш набор! Бульварные штучки! Вы ответите! До чего вы дошли!

Я сделал невинное лицо. Ничего мы не крали. Это – поклеп! Где доказательства?

Секретарь задохся от возмущения.

– Вам нужны доказательства? – он выхватил из номера «Моряка» вкладку с речью. – Вот! Все опечатки наши! И ко-

лонка брошюрная, широкая, – тоже наша! Вот вам доказательства!

Он судорожно засунул номер «Моряка» в рваный портфель и исчез среди отцветающих акаций.

Не знаю – время ли приучило нас ко всяким неожиданностям или наша молодость еще не перебродила и не выветрилась из нас остатки мальчишества, но мы были горды своим поступком.

Это ощущение подымало нас в собственных глазах, хотя мы и не говорили об этом.

Мы считали себя уже не простыми газетчиками. Чувство гражданственности, близости своей жизни к жизни страны наполняло нас молчаливой радостью.

# МНИМАЯ СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА КОСТАНДИ

Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой:

– Только, ради бога, не говорите об этом одесским репортерам.

Я еще застал нескольких одесских репортеров из числа тех, что нагоняли страх на Чехова. Эти репортеры были, конечно, последними «королями сенсации». Их рассадником и надежным убежищем была одесская газета «Одесская почта», а вождем – издатель этой газеты, некий Финкель.

Главным содержанием этой газеты было подробнейшее описание всех пожаров, краж, убийств, мошенничеств и всех прочих уголовных происшествий.

Стиль статей в этой газете был феерический. Я помню, как по поводу какого-то пустякового постановления городской думы Финкель писал в передовой статье, что «следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет и аплодировать городской думе на крышах домов».

Старые репортеры рассказывали нам, молодежи, что если Финкель и был легендарен, то только своим гомерическим невежеством.

Из тех репортеров, которых боялся Чехов, у нас в «Моряке» застрял только один – Лева Крупник, человек с обманчивой внешностью. Сухонький и кроткий, этот старичок с вкрадчивым голосом ходил в заштопанном чесучовом пиджачке и в золотом пенсне и распространял старорежимный запах тройного одеколona.

Несмотря на эту идиллическую внешность, Лева был опасен, как ипритовая бомба. Иванов предупреждал меня об этом, но я не верил ему вплоть до одного чрезвычайного случая.

Летом я приходил в редакцию ранним утром. Я любил идти со своей Черноморской улицы до редакции медленно, выбирая любой путь из четырех возможных. Все они одинаково приводили на бульвар, к Воронцовскому дворцу.

Там пышно пылала, зацепившись за старые колонны, настурция и всегда веял – именно веял, а не дул – портовый ветер, солоноватый и свежий. Он наполнял приморские улицы запахом только что вымытых палуб.

Я садился на парапет над обрывом к порту и некоторое время сидел, закрыв глаза. Так я лучше ощущал на лице дыхание этого ветра. Я различал в нем не только запах палуб, но и акаций, и высохших водорослей, и ромашки, что цвела в трещинах подпорных стен, и, наконец, дегтя и ржавчины. Но все эти запахи по временам смывал особенный послегрозово-вой запах, что налетал с открытого моря. Его ни с чем нельзя было сравнить и ни с чем спутать. Как будто холодноватое от



купания матовое девичье плечо прикасалось к моим щекам.

Так я просиживал на парапете, теряя представление о времени, погружаясь внутренним взором в мерцающую даль Голконды. Мне хотелось верить, и я в действительности верил, что эта цветущая страна существует на свете. Иногда мне казалось, что она приближается ко мне, наплывает, разгорается и гонит перед собой волны этого ветра, эти потоки легкого воздуха.

Подремав на парапете, я шел в редакцию. Дверь мне открывал абиссинец Варфоломей – наш редакционный парикмахер.

Он ночевал в некогда роскошной гостиной с облезлыми фресками на стенах. Они изображали богиню Аврору в розовом прозрачном хитоне. Она летела по небу среди бежевых облаков и сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья.

Меня всегда умиляла наивность художника, написавшего позади Авроры в голубой морской дымке одесскую лестницу к морю и памятник Дюку – герцогу Ришелье.

В моей редакционной комнате стоял еще прохладный воздух ночи. Я садился к столу и до появления Люсьены (она всегда приходила вслед за мной) успевал кое-что написать «для себя». Я очень ценил эти два-три часа безлюдья в редакции.

Потом приходили сотрудники и заваливали мой стол исписанными узкими полосками бумаги. Я правил весь день

статьи, телеграммы и заметки. Правил до изнеможения, до того, что у меня начинала тупо болеть рука. Примерно половину заметок приходилось мне самому переписывать заново, чтобы убрать из них неистребимый одесско-молдаванский стиль.

В конце концов я полюбил правку. Ее навыки очень помогли мне в работе над своими рукописями.

Я был секретарем редакции, иными словами, должен был делать все: от правки и раздачи заданий репортерам до приема авторов и прекращения молниеносных скандалов, возникавших между молодыми и старыми репортерами.

Кроме того, я почти каждый вечер верстал вместе с Изей Лившицем очередной номер газеты.

Однажды я пришел очень рано и застал в редакции Леву Крупника. Он сидел на подоконнике и плакал, прижимая к глазам клетчатый платок. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

Я испугался и спросил, что случилось. Лева только отмахнулся от меня, подчеркивая этим жестом всю неуместность моего вопроса и мою неделикатность. Очевидно, горе его было так велико, что ему было не до расспросов.

Я налил в стакан воды и подал Лева. Он выпил его вместе со своими слезами, снова махнул рукой и сказал:

– Лежит на столе... под простыней... Боже мой, боже мой! ... Вместе учились... восемь лет сидели на одной парте... вместе босяковали на Малой Арнаутской улице, и вот...

Он всхлипнул, высморкался и посмотрел на меня красными, припухшими глазками, ожидая сочувствия.

– Кто же умер? – несмело спросил я. – Кто-нибудь из ваших родных?

– Зачем? Слава богу, у меня нету родных.

– Так кто же?

– Художник Костанди! – воскликнул Лева таким тоном, будто с моей стороны было просто глупо задавать такие вопросы. – Глава южнорусской школы художников, – добавил он уже более спокойно. – Мастер! Бриллиантовая рука! И золотое сердце. Добрее его не было человека на свете.

Лева был безутешен. Мне стало его искренне жаль. Я не знал, как успокоить его. Внезапно у меня блеснула счастливая мысль, и я сказал:

– Возьмите себя в руки, сядьте и напишите некролог о Костанди. Для завтрашнего номера.

Лева поймал качающееся пенсне, криво прицепил его к носу, слез с пыльного подоконника, отряхнул брюки и неожиданно сказал капризным голосом:

– Так дайте же мне по крайней мере бумаги. На чем я буду писать? У нас в редакции не допросишься четвертушки на раскурку.

Я дал ему чистые с одной стороны старые гранки, но он презрительно хмыкнул и сказал, что на обороте старых гранок можно марать все, что угодно, – хронику происшествий или халтурные фельетоны, – но писать об умершем большом

художнике просто неприлично и неуважительно.

Он явно привередничал. Я приписал это, как он сам выразился, его «расстроенным чувствам». Я дал ему несколько листов хорошей бумаги, ценившейся в редакции на вес золота.

Он ушел в соседнюю комнату, долго сморкался там, вздыхал и царапал по бумаге пером.

Потом пришла Люсьена, ахнула, узнав, что умер Костанди, и сказала:

– Такой был чудный старик – и вдруг умер. А все эти бугаи, вроде Кынти, всякие жулики-рамолики живут и только морочат людям голову.

– Ах! – горестно воскликнул Лева. – Вы разрываете мое сердце, Люсьена Казимировна, своими грубыми выражениями!

– Подумаешь, какой сиреневый принц! – ответила Люсьена. – Нечего прикидываться безутешным, старик.

Потом Лева диктовал Люсьене некролог, и они ссорились из-за того, что старик требовал двух копий, а Люсьена божились, что у нее осталась последняя копия и с Левы хватит одной копии. Но все-таки Лева добился своего и ушел из редакции, захватив копию, очевидно на память.

Я прочел некролог, выправил его (в том месте, где Лева сравнивал кисть Костанди с божественной кистью Рафаэля) и послал в типографию.

Я вспомнил, как Лева тяжело вздыхал, уходя домой, и ска-

зал Люсьене:

– Как вам не совестно преследовать этого несчастного, беззащитного старикана!

– Это кто несчастный? – спросила Люсьена. – Крупник? И это кто беззащитный, позвольте спросить? Тот же Крупник? Подождите, он еще подложит вам такую свинью, что вы проклянете день своего рождения. Вы все, московские, какие-то сентиментальные.

В это время пришел наш корректор Коля Гаджаев, юный студент Новороссийского университета, знаток левой живописи и поэзии.

Колины суждения отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля.

Всех инакомыслящих Коля презирал и считал «мусорными людишками», чем-то вроде тараканов. Говоря о своих идейных противниках, он морщился и, по всей видимости, испытывал физическую тошноту.

Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту, а Георгия Шенгели /считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме.

– Коля! – крикнула ему Люсьена. – Вы слышали? Умер художник Костанди!

– Ваш Костанди не художник, а свиновод! – неожиданно

закричал ей в ответ Коля и почернел от негодования. – Как можно так швыряться словом «художник»! Он всю жизнь держался за протертые штаны передвижников. Не говорите мне о нем!

Начали собираться сотрудники. Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами.

Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода «Камилла Гильберт» или землетрясение в Аравии.

Его возбуждал самый ход жизни, все перипетии и подробности ее движения, все ее перемены, независимо от того, что это может принести с собой: беду или счастье. Это было для него вопросом тоже важным, но все же второстепенным.

По поводу смерти Костанди Аренберг высказался в том смысле, что Костанди – это, конечно, не Репин. Это вызвало новый взрыв негодования со стороны Коли Гаджаева, но теперь уже не против Костанди, а против Репина.

– Старый чудак, объевшийся сеном! – сказал Коля о Репине и ушел, даже не глядя по сторонам, очевидно от презрения ко всем нам.

У Репина были свои странности, и одна из них – вера в целебные свойства супа из свежего сена. Эта история с сеном особенно возмущала Колю.

Потом пришли Иванов и репортер Ловенгард, седой, высокий, с донкихотской бородкой и с палкой в руке, похожей на короткую пику. Всю жизнь Ловенгард обслуживал в газе-

тах одесский порт, знал его до последней причальной пушки и потому сказал, что о художнике Костанди он судить не может, так как никогда не слышал о его существовании, но вот капитан Костанди с парохода «Труженик моря» – тот был, конечно...

Но тут его перебили. Он сел в угол, положил руки на свою палку, закрыл глаза и так просидел довольно долго, о чем-то размышляя. Это была его обычная поза.

По вечерам я часто заходил в типографию проверить, как верстается очередной номер, поболтать с выпускающим Изей Лившицем и метранпажем Суходольским и вообще подышать воздухом типографии.

Со времени работы в «Моряке» я пристрастился к типографиям. Даже запах краски и свинца был для меня «сладок и приятен». Я полюбил наборщиков, их насмешливость, их обширные, хотя и случайные, познания, их безжалостные оценки и даже самую манеру набирать, покачиваясь около наборных касс, как качаются мусульмане, совершая намаз или читая коран.

Темные, пыльные, низкие типографии, сырые оттиски, гул плоских печатных машин, пачки разноцветных бандеролей, рулоны бумаги, традиционные яростные схватки с ректорами, остывающий чай на подоконниках, вазон с геранью на окне, запах ее шершавых листьев – все это представлялось мне в несколько романтическом ореоле, очевидно потому, что здесь рождались газеты и книги, географические

карты и афиши, календари и расписания пароходных рейсов. Кажется, я никогда не забуду черный и липкий от краски, грубый деревянный стул у открытого окна типографии. За окном, за железной ржавой решеткой, висели, чуть поникнув от зноя, листья каштанов. Не забуду лиловый блеск на асфальте во дворе и сырую гранку с оттиснутыми на ней строчками стихов неизвестного мне поэта:

Закаты в августе! Плывут издалика  
Полей дыхания и ветерки тугие,  
И снежные встают над горем облака,  
Такие белые, что даже голубые...

На полях корректор написал жирным синим карандашом: «Не над горем, а над морем». Я прочел эту отметку корректора и подумал, что наборщик ошибся не так уж плохо. Почему не могут встать над человеческим горем облака, как образчик умиротворяющей красоты, как отвлечение, врачующее сердце?

Но в тот вечер, о каком идет речь, в типографии было шумно. Еще со двора я слышал негодующий голос Изи Лившица и хохот наборщиков.

Когда я вошел в типографию, Изя Лившиц бросился ко мне, размахивая сырой, только что оттиснутой гранкой с некрологом Костанди.

– Кто дал в газету эту гнусность? – закричал он с такой яростью, что у него побелели даже глаза. – Какой негодяй?!



– Крупник, – растерянно ответил я.

– Я так и знал. Подонки! Шантажист!

– А что случилось?

– Случилась чрезвычайно интересная вещь. – Изя зловеще усмехнулся. – Чрезвычайно интересная. Чтобы его стукнуло брашпилем по башке, этого вашего «короля репортеров»! Случилось одно пустяковое обстоятельство. Я шел сейчас в типографию верстать газету и за два дома отсюда встретил воскресшего Костанди. И даже проводил его до Екатерининской улицы. И даже говорил с ним о будущей выставке его картин. И даже пожал его мужественную руку. И даже заметил пятно от синей масляной краски на его чесучовом пиджаке. И он нисколько не был похож на покойника, уверяю вас.

– Что это значит? – спросил я.

– Это значит, что Крупник гнусно наврал. Хотел заработать на мнимой сенсации лишних пять тысяч рублей. Вы скажете, что это бессмысленно, что за это его могут выгнать из «Моряка». Конечно, могут. Но Финкель за это не выгонял, и Крупник надеется, что и здесь все сойдет. Вранье – это его единственная верная черта. Он ей никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяет. А изменяет он всем и всему.

– Давить надо таких, как этот Лева! – сказал метранпаж Суходольский. – Я его видеть не могу. У меня ноги трясутся, когда я его вижу. У меня к сердцу подпирает от его лживого голоса.

Мы с Изей вынули из номера некролог о Костанди. Наутро «Моряк» вышел без некролога, но тотчас же этот некролог был обнаружен нами в «Одесских известиях», тот же самый, до последней запятой, некролог, который мы только что выбросили из «Моряка».

Вскоре в редакцию примчался репортер Аренберг и, сияя от внутренней газетной сенсации, сообщил, что Крупник прямо из «Моряка» двинул в «Известия» и подсунул им некролог с теми же крокодиловыми слезами, какие он проливал у нас в редакции. Лева на всякий случай решил застраховаться.

«Известия» принесли Костанди свои глубочайшие извинения<sup>9</sup>, а «Моряк» напечатал об этом случае стихотворный фельетон Ядова. Он кончался словами:

---

<sup>9</sup> Тем не менее ложный некролог сделал свое черное дело, так как художник Костанди вскоре после этого умер – 31 октября 1921 года. Родился он 3 октября 1852 года в селе Дофиновке под Одессой. Окончил Петербургскую Академию художеств в 1877 году. Принадлежал к передвижникам. Писал жанровые картины из жизни людей труда, в том числе «У больного товарища» (1884) и «В людях» (1885). Костанди – один из организаторов Товарищества южнорусских художников (1890). С 1885 года преподавал в Одесском художественном училище. Среди его учеников – И. Бродский, М. Греков, А. Шовкуненко. Ложные некрологи в начале 1920-х годов не раз появлялись в одесских газетах. Отчасти это было связано с блокадой и изоляцией от столиц, отчасти – со спецификой и нравами местной газетной жизни. В истории с Костанди «Моряку» удалось избежать ошибочной публикации. Однако в том же году, и на этот раз в «Моряке», появился некролог, посвященный поэту Сергею Городецкому, который, как известно, скончался лишь в 1967 году. Он не стал брать пример с Костанди, и несмотря на то что газета «похоронила» его, благополучно прожил еще почти полвека.

Смотри в газетный номер  
И, если что, смирись.  
Коль сказано: ты умер, –  
Скорее в гроб ложись.

Крупник исчез. Взбешенный Женька Иванов потребовал, чтобы ему доставили Крупника на расправу, живого или мертвого. Но его нигде не могли найти. Дома он не ночевал.

Прошло недели две. Однажды я, как всегда, очень рано пришел в редакцию, вошел в свою комнату и отступил: на пыльном подоконнике опять сидел Лева Крупник и плакал. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

– Извиняюсь, – сказал Лева прерывающимся голосом, – но вышла маленькая ошибка.

– Ошибка? – спросил я, чувствуя, как у меня холодеют руки.

– Да, – кротко согласился Лева. – Добросовестная ошибка. Оказывается, умер не художник Костанди, а чистильщик сапог Костанди. Однофамилец. Он жил в подвале того самого дома, где живет и художник. Легко, понимаете, спутать.

– Позвольте, – сказал я, приходя в себя, – вы же своими глазами видели его на столе, под простыней...

– В том-то и дело! – ответил, сморкаясь, Лева. – В подвале, понимаете, темно, а тут еще эта простыня... Кстати, я принес вам заметку о выставке Костанди. Она скоро откроется.

– Надо думать, – сказал я, – что это будет его посмертная выставка?

– Напрасно так шутите, – ответил с упреком Лева. – Это даже неприлично с вашей стороны!

– Знаете что! – сказал я. – Уходите! В «Моряке» вам больше нечего делать.

– Подумаешь! – воскликнул Лева сварливым голосом и встал, – Тоже мне газета! Паршивая свистулька! Я был одесским корреспондентом «Фигаро», а вы мне тычете в нос вашу селедочную листовку.

Я не успел ответить. Дверь распахнулась. На пороге стоял белый от гнева Иванов.

– Вон! – прокричал он ясным, металлическим голосом. – Вон немедленно!

Лева Крупник вскочил и засеменял к выходу, придерживая падающее песне.

Потом мы слышали, как он в сердцах плюнул на паркет в зале с богиней Авророй и застучал деревяшками по панели, навсегда удаляясь из «Моряка».

Так исчез из редакции последний из тех одесских репортеров, которых с полным основанием боялся Чехов.

# «ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?»

Патетический язык почти забыт. Современная жизнь требует простых выражений.

Но каким же языком описать то по существу неопишемое одесское торжище, которое в двадцатых годах нашего века носило название «Новый базар»?

Как изобразить этот базар нам, отвыкшим от приподнятых слов? Как рассказать о вчерашних сыпнотифозных, толпившихся около раскаленных сковородок, где скручивались, потрескивая и жарясь в собственном жиру, куски домашней украинской колбасы с чесноком – первого детища нэпа?

Как передать множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерики, проклятий и ругани, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами, по потрясенной их топотом брусчатой мостовой? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами трещин?

Поскольку патетический язык нам чужд, придется говорить об одесском базаре обыденными словами.

Прежде всего нужно упомянуть о нескольких правилах, без знания которых нечего было и соваться на Новый базар.

Первое правило состояло в том, чтобы, толкаясь по базару, обязательно сохранить на лице бесстрастное и даже скучное выражение и ни в коем случае не показывать вида, что вы хотите что-нибудь купить. Потому что в этом случае десятки людей начинали цепко хватать вас за рукава, или сильно дергать сзади за гимнастерку, или, наконец, тянуть за хлястик шинели и кричать почти трагически, с выражением отчаянной надежды:

– Что вы хотели купить, молодой человек?

Никто не спрашивал, что вы хотите продать. Спрашивать об этом было бессмысленно: все, что человек хотел продать, он таскал на руках или вешал себе на шею.

Если же человек ничего не нес с собою, но глаза его подозрительно бегали, ища покупателей, то базарные завсегдатаи тотчас догадывались, что он торгует фальшивыми драгоценностями, и насмешливо кричали ему в спину:

– Бриллиантовые розы из навоза! Кораллы из крахмала! Халцедоны из бердичевской короны!

Но все же бывали и исключения, когда нельзя было сразу догадаться, чем человек торгует. Так было, например, с одним довольно потрепанным французским матросом по прозвищу Лева.

Он отстал от военного корабля, застрял в Одессе и был совершенно уверен, что в те феерические времена граждан-

ской войны и ниспровержения международного права никто его не выдаст как дезертира французскому правительству.

Низенький, всегда небритый и недовольный, с длинным черным носом и яростными, презрительными глазами, в синей грязной шинели, в берете с алым помпоном, в рваном фиолетовом кашне, он молча бежал по Дерibasовской, энергично засунув руки в карманы шинели, и вдруг неожиданно, совершенно внезапно кричал, не останавливаясь, пронзительным фальцетом, слышным за несколько кварталов:

– Сами лучши! Сами крепки! Сами вечный!

Он никогда не называл свой товар. Его пробежка по Дерibasовской была похожа на смерч. Толпа завивалась вокруг него и потом шарахалась, прижимаясь к стенам. «Что он продает?» – растерянно спрашивали приезжие. Одесситы в ответ насмешливо пожимали плечами. Мальчишки восторженно свистели вслед матросу. С ближайшего поста навстречу матросу торопливо шел милиционер, держа в руке роговой черный свисток.

Увидев милиционера, матрос наконец выкрикивал свой товар:

– Сами лучши камешка! Для зажигалка! Сами длинный! Для зажигалка!

Под этот победный клич он исчезал в глубине Садовой улицы, где тлел в седом чаду постного масла Новый базар, прибежище мешочников, старых генералыш и карманных воров.

Он был очень скульптурной фигурой, этот матрос, весь как бы вылепленный из терракоты и подкрашенный яркими красками.

Второе базарное правило заключалось в том, чтобы соглашаться на первую же цену, какую вам давали за ваши вещи. Пренебрежение этим правилом могло окончиться катастрофой, как это и случилось со мной.

У Васи Регинина тяжело заболела жена, хрупкая и грациозная женщина, совершенно беспомощная во всяческих практических делах.

Кроме жены, у Регинина была еще маленькая дочь Кира, тихая девочка лет шести.

Регинин совершенно раскисал из-за частых болезней жены. Он растерянно носился по городу. Он глох от волнения, стараясь достать немного денег и какое-то фантастическое в то время лекарство (кажется, горчичник), а меня слезно упросил загнать на базаре его великолепный ватин.

То был добротный, легкий, как пух, ватин. По моим понятиям, он представлял огромную ценность.

Я не знал, почему Регинин попросил продать этот ватин именно меня. Насколько помню, он упоминал о моей находчивости и ссылался на собственную негодность для этого дела. Он льстил мне, и я поверил ему.

Я зашел к Регинину, взял ватин, свернул его рулоном и пошел на базар. Это было глупо с моей стороны, но тогда еще я не подозревал, куда иду. Я спокойно шел по Садовой



улице, не зная, что это – прямая дорога в ад.

Сначала никто даже не хотел смотреть на мой великолепный ватин. Все вели себя так, будто впервые слышали о ватине. «Это что? – спрашивали меня. – Материал на обивку кушетки? Или теплая обертка для недоношенных младенцев?».

Я оскорблялся, но молчал даже в тех случаях, когда нахальные женщины отщипывали от ватина кусочки, раздиргивали их по отдельным волокнам и нюхали неизвестно зачем.

Наконец добродушный старик с сантиметром на шее (из этого я заключил, что это портной) дал мне за ватин сто тысяч рублей. Это были хорошие деньги. Но я решил продать ватин не меньше чем за двести тысяч рублей и этим осчастливить Регинина.

– У вас есть мозги в голове? – удивленно спросил меня портной. – Берите деньги и не разыгрывайте из себя барона Нобеля. Ваше счастье, что вы попали на честного человека.

Я отказался. Портной потоптался, потом сплюнул и ушел, покрикивая:

– Брюки галифе! Шьем перед глазами заказчика за два часа и с его материалом! Будут лежать как вылитые! Брюки галифе! Задаром! За триста тысяч рублей без приклада!

Следующий покупатель, маленький полупьяный грек, дал мне семьдесят тысяч. После него плаксивая женщина дала пятьдесят тысяч.

Время подходило к четырем часам, базар начинал пустеть.

Грек снова вернулся откуда-то и предложил мне уже тридцать пять тысяч рублей.

Я послал его к черту. Тогда ко мне подошел босой парень в старой казацкой фуражке, сунул мне в руку десять тысяч рублей, сильно потянул у меня из-под локтя ватин и сказал:

– На, бери и катись с базара до своей Люсечки! Я вырвал у него ватин и швырнул ему обратно его десятитысячную бумажку.

– Ах, ты так, зараза! – сказал парень и полез за пазуху.

В это время взвизгнула в шляпе старуха с бархатными анютиными глазками. Она доторговывала последним, свернувшимся в жгут малокровным пирожком с картошкой. В ответ на визг старухи засвистел милиционер. Парень независимо и медленно пошел прочь, шевеля лопатками под линялой рубахой.

– Уходите скорее, – сказала мне старуха. – У него нож за пазухой. Я уже не могу видеть крови на базаре и вечно попадать в свидетели.

Уже смеркалось. Мой базарный день был бесславно окончен. Так я думал тогда по своей непроходимой наивности.

Я ушел с базара. Я шел и вдруг вспомнил, что и грека, и плаксивую старуху, и парня в казацкой фуражке я видел в самом начале базарного дня в толпе за рундуком – всех троих вместе. Только сейчас до моего сознания дошло, что около меня работала одна и та же шайка «маравихеров». Так в Одессе звали шпану, занимавшуюся сбиванием цен и, при

удобном случае, базарными кражами и грабежами.

В базарных воротах мне встретился полупьяный грек. Он курил козью ножку и не обратил на меня внимания.

Я шел, и какой-то едкий, пакостный запах преследовал меня до ближайшего перекрестка. На перекрестке меня окликнула торговка семечками.

– Вы же горите, молодой человек! – крикнула она мне. – С вас дым идет, как с паровоза.

Я оглянулся. Из свернутого ватина шел белый едкий дым.

Я развернул рулон. По нему расплзлся, чадя и вспыхивая, огненный узор.

Я хотел затоптать этот ползучий огонь, но напрасно: он извивался, как десятки маленьких змей, и расплзлся по ватину все дальше. Единственное, что мне оставалось сделать – это отшвырнуть ногой горящий ватин на мостовую.

– Я думаю, – сказала торговка, – что у вас была на базаре крупная неприятность с «маравихерами», молодой человек. И они по злобе подожгли вам сзади ватин. Папироской.

Я вспомнил полупьяного грека в воротах базара. Это была его работа.

Вокруг горящего ватина собралась толпа. Торговка семечками рассказывала всем, крича и возмущенно жестикулируя, мою горестную историю.

Я не пошел к Регинину. Меня душили отвращение, гнев, стыд. Я проклинал всех, кто считал, будто в воровском и бандитском мире есть следы какой-то романтики. Сплошная

чушь! Рассказни для слюнтяев и доверчивых дураков.

Я поклялся себе страшной клятвой, что больше ни разу не пойду на базар.

Наутро мне надо было достать где-нибудь не меньше двухсот тысяч рублей – за эти деньги я обещал Регинину продать его ватин. Я ломал себе голову над этим, наконец решился и пошел к Мозеру. Он слыл среди нас человеком вполне состоятельным.

Мозер и его жена очень жалели меня, охали, возмущались, напоили чаем и дали два больших листа денег (каждый по сто тысяч рублей). Я свернул их в рулон и пошел к Регинину. Казалось, никогда еще в жизни я не испытывал такой легкости на душе, как в тот день.

Из этого случая с ватином вытекало третье базарное правило: никогда не носить вещей у себя за спиной. Потому, конечно, что их незаметно разрезали лезвием безопасной бритвы или поджигали, а потом эти испорченные вещи шли за бесценок.

Но избавиться навсегда от базара, несмотря на клятвы, мне, конечно, не удалось. Государственных товаров в городе почти не было, если не считать бязи, некоторого количества шапок-ушанок и ватников.

Эти шапки-ушанки с искусственной серой мерлушкой привозились почему-то спрессованными в огромные тюки. Тюки эти лежали в магазинах, их никто не распаковывал, и они распространяли запах тления.

На базар приходилось ходить за всем, особенно за лесками и рыболовными крючками.

Каждый раз после базара я возвращался в глухом раздражении, подавленный и униженный. Униженный зрелищем бесстыдной алчности, беспомощной нищеты, глумления над людским достоинством, животной грубости и обмана.

Особенно много было жульничества – мелкого, шмыгающего глазами и наглого.

В тени под всеми рундуками играли в «три листика», в «узелок», в «кости», передергивались и дрались. Испитые шулера рыдали в голос, размазывая по лицу кровь и грозясь рассчитаться с обидчиками такими изощренными способами, что от них холодела кожа на голове.

Бродячим сумасшедшим привязывали сзади, к отрепьям, пуки газет и поджигали их.

Иногда в укромных углах базара неожиданно собирались плотные толпы. Люди молча, с яростным любопытством продирались вперед, к середине толпы, где слышались тупые удары и заглушенные крики: там, зверея, били вора или обыскивали, раздевая догола, женщину, заподозренную в краже, под визгливый хохот деревенских простоволосых кулачек.

Иной раз невозможно было понять, что происходит, Вор вырывался и, кривляясь, избитый, весь в кровоподтеках, начинал изображать какой-нибудь похабный танец под дружный и одобрителный рев толпы, и раздетая женщина вцеп-

лялась в волосы обкраденной и обе они долго катались в пыли.

До одесского базара я никогда не видел такого скопления в одном месте человеческой скверны и злобы. И это было тем удивительнее и тяжелее, что рядом сверкало теплое море, шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям, на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей, пахло цветами и низко горели в морских далях чистые звезды, похожие на огни бакенов.

Но и на базаре попадались хорошие люди. Все это были чудаки или люди с изломанной, пустой жизнью, но здесь они казались образцами человечности.

Помню подслеповатого старика. Он торговал фотографиями для стереоскопа. Его постоянно окружали дети. Весь день он бесплатно показывал им виды Парижа и Рима, Москвы и острова Мадейра. Совершенно невозможно было понять, чем он живет. В то время ни единая живая душа (кроме Иззи Лившица) не покупала фотографий для стереоскопа. Да и Иззя покупал их только из жалости к этому старику.

Рядом с этим стариком стоял на мостовой выцветший, пыльный глобус. За пятьдесят рублей каждый желающий мог повертеть этот глобус и поискать на нем разные заманчивые страны и города, вроде острова Пасхи, реки Замбези или города Каракаса.

Невдалеке от этого старика поместился гадалыщик-графо-

лог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты.

Гадал он сердито, выговаривая гадающим, и даже кричал на них. Но, несмотря на это, клиенты его любили, особенно женщины.

А кричал он вещи удивительные.

– Я же вам три раза уже нагадал, гражданочка, – кричал он заморенной женщине, – чтобы вы бросили этого вашего сожителя, если не хотите попасть вместе с ним в арестантские роты.

– Оно и верно, надо бы бросить, – неуверенно соглашалась женщина.

– Бросай, Верка! Видишь же, человек тебе желает добра, – уговаривали ее подруги.

– Выходит, – обиженно кричал гадалыщик, – что я, как паразит, деньги с вас высасываю и получаю каждый раз по триста рублей. А все через вашу нерешительность! Это что за безобразие! Раз не хотите меня слушать, так и не ходите до меня. Я вам больше гадать не буду. Хватит!

В другой раз он кричал:

– Судя по начертанию букв, очень много об себе понимаете, отрок. Ходите таким фон-бароном и фон-трезвоном. А правильное соответствие жизни достигается только путем науки и терпения, а не нахальства и гавканья. Я давно замечаю, что вы все крутитесь в компании с Витькой «Десятка треф», вместо того чтобы честно работать и радовать пре-

старелых родителей.

Но самым трогательным оказался старый торговец кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную лавочку с вывеской «Варшавские кепы».

Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным – унылым, болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, похрапывая, а старик, нацепив очки, медленно читал газету, вздыхал и недовольно поглядывал на редких покупателей.

Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Лифшицем.

– Зачем вам новая кепка? – сердито спросил Зусман Яшу. – У вас же еще вполне приличная.

– Это уж мое дело! – так же сердито ответил Яша.

– Привыкли разбрасываться кепками? – иронически спросил Зусман. – Ваше дело! Миля, дай этому товарищу какую. –нибудь кепочку. А мне надо зайти до соседа.

Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал перед ним зеркало и два раза чуть не уронил его, засыпая.

Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли она ему.

Я не успел ответить. Вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил:

– Миля, где же ют покупатель, который только что заходил до лавки?

– Так вот он, – уныло ответил Миля и показал на Яшу.



– Нет! – вскричал Зусман, отступил, всплеснул руками, и бородатое его лицо расплылось в счастливую улыбку. – Нет! Что ты выдумываешь, Миля! Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке, настоящий лорд Чемберлен. А тот покупатель был, извините, совершенно затрушенный и смахивал на босяка.

– Так это же он, – так же уныло подтвердил Миля. – Только он в новой кепке.

– Ай-ай-ай! – закричал Зусман. – Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за сто тысяч рублей! Если она, конечно, сшита хорошим мастером! Она может сделать чудо!

Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал до слез, довольный своей выдумкой, и дружески похлопал Яшу по плечу.

– Торговля с нас делает артистов, – говорил он сквозь смех. – Из меня бы вышел комик, честное слово! Будем знакомы. Приходите когда до меня поговорить, а то можно пропасть в этой пустой лавке. Я вам сошью такую летнюю кепку, что сам Ллойд-Джордж не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни. Абы только достать хороший материал.

Все были очень довольны, а Миля снова уже сидел на табурете за прилавком, клевал носом и всхрапывал.

– Сами можете убедиться, – сказал со вздохом Зусман и кивнул на Милю, – какой у меня собеседник. Это же только сойти с ума и умереть!

«Что вы хотели, молодой человек?» – спрашивали меня каждый раз на одесском базаре. Что я хотел? Я хотел одного: чтобы это капище нищеты и грязи было сожжено, развеяно по ветру. В конце концов так и случилось.

Да, кстати, Регинин поверил, что я продал его ватин за двести тысяч рублей. Обман обнаружился только через двадцать лет в Москве, и Регинин торжественно вернул мне эти двести тысяч рублей в виде двух 10-рублевых бумажек выпуска 1939 года. При этом он по своей манере бесшумно трясся от смеха.

# «МОПАССАНОВ Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ»

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король»<sup>10</sup>. Под рассказом стояла подпись: «И.

---

<sup>10</sup> Речь идет о юбилейном, сотом номере газеты, где был опубликован не только этот рассказ Исаака Бабеля, но и рассказ Катаева «Сэр Генри и черт», а также стихи Шенгели, Багрицкого и стихотворение Лившица «Смеялось море». Последние два автора замаскированы инициалами -Э. Б. и И. Л. Этот номер «Моряка» вышел 23 июня 1921 года. На первой полосе можно прочесть лозунг «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!», украшавший заголовок газеты и воспроизведенный на четырех языках. Видимо, вначале губком был против подобного украшения заглавия газеты, но потом все удалось уладить. Во всяком случае все номера за 1921 год оформлены именно так. Поэтому следует уточнить объяснения Паустовского, относящиеся к этому эпизоду. Решение было принято компромиссное. Выше заглавия с упомянутыми лозунгами на иностранных языках был помещен и девиз «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», но выполненный уже типографским набором, причем курсивом. Этот номер «Моряка» интересен также тем, что в нем напечатано стихотворение Паустовского, посвященное Одесскому порту времен блокады: «Вы помните, – у серого „Камилла“...» («Камилла Гильберт» – название норвежского парохода, доставившего в Одессу дефицитное топливо). Известно, что Паустовский, рано начав публиковать рассказы, воздерживался печатать свои стихи, тем более после получения известной открытки от Бунина. По существу это одно из редких стихотворений, которые Паустовский опубликовал при жизни. Очевидно, это связано с тем, что в том номере газеты поместили свои стихи его коллеги по редакции. Так же как и они, он подписался инициалами. Вы помните, – у серого «Камилла» Ныряли чайки, словно хлопья снега, Как чешуя, вода в порту рябила, И по ночам слепительная Вега Сверкала вся, как древняя корона, Как божий знак покинутых морей. Железный лязг скрежещущих лебедек, И хриплый крик, и темные [Так в подлиннике. – В. П.] зака-

Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Бенья) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель

---

ты  
На пелене прозрачной и зеленой,  
Где облака – как крылья лебедей.  
И тихий ход  
портовых ветхих лодок  
У черных и бездымных кораблей,  
Заржавленных, как латы.  
А на рассвете, тусклом как опалы,  
Мы слышали густой и медный рев  
Сирен тягучих. Бледные кораллы  
Мигали в ночь. И этот гулкий зов  
Напомнил мне о гаванях шумливых,  
О зное стен и запахе вина,  
О бронзовых и закаленных лицах  
Чужих и странных моряков.  
И горечь дум, и блеск зарниц в заливе,  
Сквозных медуз в волне голубизна,  
И запах соли, солнца и корицы  
Измучили, как мучает весна  
Беспомощных рабов.  
К. П.

свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно углекислой воде.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгнулся какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, – напев размеренный и пышный.

Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры – от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Веермера Дельфтского до Александра Блока.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом,

с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

– У нас в Одессе, – сказал он, насмешливо поблескивая глазами, – не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую.

Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.

Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на хо-

ду. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текущем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошकारа, так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчики» боготворили Бабеля. Старые литераторы – их в то время собралось в Одессе несколько человек, – равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно



советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и переводной книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока, и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать в террасе, выходявшей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроходимых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенью нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то, что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем, потому что вре-

мя было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременно цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издавала уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

– Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За «куриные яички». Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

– Вы окончательно сказались, молодой человек? Или что?

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «месье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.. Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, об бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни.

Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строки:

Звезда полей над отчим домом  
И матери моей печальная рука...

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда по-

лей». Часто по ночам я даже видел ее во сне – единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды осторожно заглянул в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос – подарок царю Александру от турецкого султана Абдул Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабея необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Циреса и его мрачной медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабея привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставшие уже легендарными Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным ме-

стом для этого была скучная квартира Циреса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на столах, где под родительским кровом скрывались налетчики.

Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.

Бабель посвятил Циреса в цель своего изучения Молдаванки. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

– Ой, месье Бабель! – сказал он, качая головой. – Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

– Каких? – спросил Бабель.

– Я знаю каких! – уклончиво ответил Цирес. – Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, месье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что

сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

– Что ты с этого будешь иметь, скупец! – говорила она Циресу. – Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Стеновой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.

– Легаши только ждут твоего Бройде, чтобы его захватить, – неуверенно отбивался Цирес.

– Как бы тебя не захватили раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи.

Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и жен-

ский истерический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю, ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу. Там за толстыми стенами на четвертом этаже было тихо, темно, безопасно, а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка, – говорил он, – совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно; он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в ли-



тературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент – «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скарденности Циреса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство – выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Цире-

са душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате – начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

– Прошу вас, – сказал он Бабелю, – взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю.

– Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

– Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчишки с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:

– Спутались с фраером, месье Цирес? Поздравляю! Знаете новый советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

– Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? – спросил, сладко улыбаясь, Цирес. – Или сделались

им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

– А ну, рассказывайте, старый паяц, – сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. – Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

– Завтра, – очень тихо произнес Цирес, – в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

– Хорошо! – так же тихо ответил Сенька. – Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

– Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком – и все!

– А что же делать? – застонал Цирес. – Они сведут меня с ума, эти налетчики!

– Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так по крайности не останешься в иди-

отах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:

– Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?».

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

– Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

– Старый Цирес. А тебя, Сеня?

– И меня старый Цирес.

– Итак? – спросил Пятирубель.

– Итак, старый Цирес больше не будет жить! – ответил Сеня.

– Аминь! – сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.

# «ТОТ» МАЛЬЧИК

На даче у Бабеля жило много народу: сам Бабель, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица жена Евгения Борисовна, сестра Бабеля Мери и, наконец, теща со своим маленьким внуком. Все это общество Бабель шуточно и непочтительно называл «кодлом».

И вот в один из июльских дней в семье Бабеля произошло удивительное событие.

Для того чтобы понять всю, как говорят, «соль» этого происшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля.

Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна.

В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре началась их взаимная любовь.

О женитьбе не могло быть и речи. Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужья богатой наследнице Гронфайна.

При первом же упоминании о замужестве Жени старик Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный

и всем понятный звук: «П-с-с-с-!» Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами: слишком много чести для этого невзрачного студента!

Влюбленным оставался только один выход – бежать в Одессу.

Так они и сделали.

А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону: старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось, как в знаменитых стихах Саши Черного «Любовь – не картошка». Там при одинаковых обстоятельствах папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник иссморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван «провокатором невиннейшей девушки, чистой, как мак».

Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу небритым и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубаше.

Но вот однажды до дома Гронфайна дошел ошеломляющий слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький – «Вы только подумайте, сам Максим Горький!», – что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят: «Большой талант!» А иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала



такую хорошую партию.

Очевидно, старики просчитались и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятельство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля – старуха Гронфайн.

Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева для разрядки внука – восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать.

В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему.

Мы с Изей Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена.

На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем и, если он не ел яиц, огорченно спрашивала:

– Бабель (она называла его не по имени, а по фамилии), почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?

– Благодарю вас, я не хочу.

– Значит, вы не любите свою тещу? – игриво говорила старуха и закатывала глаза. – А я их варила исключительно для вас.

Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола.

Мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «тот» мальчик. Что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был «тот» мальчик.

У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью. Скрыться от него было немыслимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши.

Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины глаза. При этом Люся задавал до тридцати вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа.

То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал,

катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл всухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом.

– А это что? – спрашивал он. – А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за крюк, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?

Легко представить себе, как мы любили этого мальчика. «Исчадие ада!» – говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь.

Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха.

Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.

– Все погибло! – стонал Бабель и хватался за голову. –

Все пропало! Череп гудит, как медный котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой!

Все мы ломали голову над тем, как избавиться Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но, как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай.

Как-то ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились с вечера, вместе идти купаться.

Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул и, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее.

– Фу-у! – вздохнул он с облегчением, увидев меня. – А я думал, что это Люська. Я могу работать, только пока это чудовище не проснется.

Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось хуже, чем написанное чернилами.

Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы вовремя скрыться.

Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик (там, как он предполагал, были

спрятаны самые интересные вещи), но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман.

После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабея химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось.

– А-а! – закричал Люся. – Я знаю, что это такое! «Карандаш-барабаш, все, что хочешь, то и мажь!».

Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе:

– Это химический карандаш. Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу! Слышишь!

– Химический, технический, драматический, кавыческий! – запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания.

– О боже! – простонал Бабель. – Пойдемте скорее на берег. Я больше не могу.

– И я с вами, – крикнул Люся. – Бабушка мне позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя, я приведу ее сюда и она сама вам скажет?

– Нет! – прорыдал Бабель измученным голосом. – Тысячу раз нет! Идемте!

Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом, как заговорщик:

– Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?

– Что вы заметили?

– Он отломил кончик от химического карандаша и засунул себе в ухо.

– Ну и что же? – спросил я. – Ничего особенного не будет.

– Не будет так не будет! – уныло согласился Бабель. – Черт с ним. Пусть ныряет.

Мы заговорили о Герцене, – Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой.

Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь:

Герцен-Мерцен сжарен с перцем!

Сжарен с перцем Герцен-Мерцен!

– Я вас умоляю, – сказал мне Бабель измученным голосом, – дайте этому байстрюку по шее. Иначе я за себя не отвечаю.

Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал, паясничая!

– У– у-у, зараза! – стиснув зубы, прошептал Бабель. Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе. – Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь.

Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком

и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с «яичком» («Бабель, так вы, значит, не любите свою тещу»), Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу, испускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало.

Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа.

Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая, женщины.

Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал:

– Больно, ой, больно, ой, больно!!

Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врёт, что никакой боли нет и быть не может потому, что Люся нырнул, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо...

Бабель схватил мою руку под столом и стиснул ее.

– Ни слова! – прошипел он. – Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех.

Теща рыдала. Мери вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люсю тотчас везли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу.

Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения на невежественных и бестолковых женщин:

– Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика. Разве в Одессе врачи? Шарлатаны! Все до одного! Вы же сами прекрасно знаете. Коновалы! Невежды! Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки.

– Что же мне делать, о господи! – закричала мадам Гронфайн, упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала. – О господи, открой мне глаза, что же мне делать!

Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип.

– И вы не знаете, что делать? – гневно спросил Бабель. – Вы? Природная киевлянка? У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу. Профессор Гринблат. Только ему можно довериться. Мой совет: везите ребенка в Киев. Немедленно!

Бабель посмотрел на часы.

– Поезд через три часа. Мери, перевяжи Люсе ухо. Потуже. Одевайте его. Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь.

Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее, как первоклассный актер.

С тех пор тишина и мир снизошли на 9-ю станцию Фонта-



на. Все мы снова почувствовали себя разумными существами. И снова вернулось потерянное ощущение крепко настоящего на жаре и запахе водорослей одесского лета.

А через неделю пришло из Киева письмо от тещи.

«Как вы думаете? – писала она возмущенно. – Что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше. Ничего больше, ни единой соринки. Как это вам нравится?».

# КАТОРЖНАЯ РАБОТА

После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».

Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда так сильно оно не завладевало почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изи отпуск окончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк – колючую ветку или створку раковины – целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то,

что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег, подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной. (Тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами.)

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту вет-

ку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согревало ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрыва-

ми, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видимым огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, но встречным камням.

– Вот вы и другие писатели, – сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем, – умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне.

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

– Бог знает что вы говорите! – возмущаясь, сказал я. Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

– У меня нет воображения, – упрямо повторил он. – Я

говоря это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз-«подлинность»! Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там, к черту, моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это – вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабальщик, которому в одиночку нужно срыть до основания Казбек. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

– Но у вас же литая проза, – сказал я. – Как вы добиваетесь этого?

– Только стилем, – ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина. – Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне

парочку идей, – как говорил один одесский журналист, – а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скарעד, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучался глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем сто страниц.

– Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.

Неужели в этой повести заключено около ста страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

– Позвольте, – сказал я. – Я слышал, что «Любка Казак» – это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня сме-

ющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

– Да, – ответил он и покраснел от смущения. – Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц, но здесь все варианты этого рассказа, включая и последний. А в общем, в рукописи сто страниц.

– Все варианты?! – пробормотал я.

– Слушайте! – сказал Бабель уже сердясь. – Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это – излишество? А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! – повторил он. – Я беру пустяк: анекдот, базарный рассказ – и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской гольш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте, как хотите. И я подчиняюсь



ему, как раб, как выучный мул. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня – и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоять не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

– У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Но спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков. Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.

– Я не выбирал себе национальности, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом. – Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится

и у него перестанут дрожать руки.

– Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?... Лишь бы не вошла Евгения Борисовна, – сказал он вполголоса, – Закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

– Так вот, – сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью, – Я работаю, как мул. Но я не жалеюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это – собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что

это – беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не однажды, а по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать – если у меня хватит на это терпения – и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебедеи и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза – одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь то-

чек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить долго. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе – это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у самого

Куприна.

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты – прополка, вытягивание рассказа в одну нитку.

И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.

– Действительно каторжная работа, – сказал я. – Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

– А главное, – сказал Бабель, – заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот... – добавил он и помолчал. – Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замазает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Он закрыл в эту

ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

– Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложечек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.

# БЛИЗКИЙ И ДАЛЕКИЙ

*Я видел, как ты сошел в тесное жилище, где нет  
даже снов. И все же я не могу поверить этому.  
Делакруа*

На побережье долго стояли молчаливые дни. Литое море тяжело лежало у порога красных сарматских глин. Берегапряно и пыльно пахли давно перезревшей и осыпавшейся лебедой. Изя Лившиц вспоминал стихи Блока:

Тишина умирающих злаков –  
Это светлая в мире пора.

В те дни мы без конца говорили о Блоке. Как-то к вечеру приехал из города Багрицкий. Он остался у нас ночевать и почти всю ночь читал Блока. Мы с Изей молча лежали на темной террасе. Ночной ветер потрескивал в ссохшихся листьях винограда.

Багрицкий сидел, поджав по-турецки ноги, на старом и плоском, как лепешка, тюфяке. У него начинался приступ астмы. Он задыхался и курил астматол. От этого зеленоватого порошка пахло горелым сеном.

Багрицкий дышал с таким напряжением, будто всасывал воздух через соломинку. Воздух свистел, гремел и клокотал

в его больных бронхах.

Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать. Но ему хотелось читать Блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его.

Багрицкий долго успокаивал самого себя и бормотал: «Сейчас пройдет. Сейчас! Только не разговаривайте со мной». Потом он все же начал читать, и случилось нечто вроде желанного чуда: от ритма стихов одышка у Багрицкого начала постепенно утихать, и сквозь нее все яснее и крепче проступал его мужественный и романтический голос.

Читал он самые известные вещи, и мы были благодарны ему за это.

Тяжкий, плотный занавес у входа,  
За ночным окном – туман...

Что теперь твоя постылая свобода,  
Страх познавший Дон-Жуан?

И стихи и этот голос Багрицкого почему-то казались мне непоправимо трагическими. Я с трудом сдерживал слезы.

Снова вернулась тишина, тьма, непонятное мерцание звезд, и опять из угла террасы послышался торжественный напев знакомых стихов:

Предчувствую тебя. Года проходят мимо.



Все в облике одном предчувствую тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо.

Я молча жду, тоскуя и любя...

Так прошла вся ночь напролет. Багрицкий читал, почти пел «Стихи о России», «Скифы», Равенну, что «спит у сонной вечности в руках». Только ближе к рассвету он уснул. Он спал сидя, прислонившись к стенке террасы, и тяжело стонал в невыразимо утомительном сне».

Лицо у него высохло, похудело, на беловато-лиловых губах как будто запеклась твердая корочка полынного сока, и весь он стал похож на большую включенную птицу.

Через несколько лет в Москве я вспомнил эту белую корочку на губах Багрицкого. Я шел за его гробом. Позади цокал копытами по булыжнику кавалерийский эскадрон.

Больной, тяжело дышащий Самуил Яковлевич Маршак медленно шел рядом, доверчиво опираясь на мое тогда еще молодое плечо, и говорил:

– Вы понимаете? «Копытом и камнем... испытаны годы... бессмертной полынью... пропитаны воды – и горечь полыни... на наших губах». Как это... великолепно!

Пыльное небо висело над скучной и душной Якиманкой. Во дворах кричали дети, играя в «палочку-выручалочку». Оркестр вполголоса заиграл траурный марш. Кавалерийские лошади, послушные звукам музыки, начали медленнее пере-

бирать ногами.

А в то далекое утро в 1921 году Багрицкий уехал в Одессу первой же конкой, даже не напившись чаю и не заходя к Бабелю. Ему нездоровилось. Он тяжело кашлял, свистел бронхами и молчал. Очевидно, ночью он натрудил себе легкие.

Мы с Изей проводили Багрицкого до конки и зашли к Бабелю. Как всегда, во время несчастий нас тянуло на люди.

Бабель писал в своей комнате. Он тотчас отодвинул рукопись и положил на нее тяжелый серый гольш.

Изредка в комнату залетал вкрадчивый морской ветер, и тогда все вокруг, что могло легко двигаться: занавески на окнах, листки бумаги, цветы в стакане, – начинало биться, как маленькая птица, запутавшаяся в силке.

– Ну что ж, сироты, – с горечью сказал Бабель, – что же теперь мы будем делать? Второго Блока мы не дождемся, живи мы хоть двести лет.

– Вы видели его? – спросил я Бабеля.

Я ждал, что Бабель ответит «нет», и тогда мне станет легче. Я был лишен чувства зависти. Но всем, кто видел и слышал Блока, я завидовал тяжело и долго.

– Да, видел, – сказал Бабель. – И даже был у него на квартире на углу Пряжки и Офицерской улицы.

– Какой он?

– Совсем не такой, как вы себе представляете.

– Откуда вы знаете, что я о нем думаю?

– Потому, что я думал наверняка так же, как и вы. Пока

его не увидел. Он вовсе не падший ангел. И не воплощение изысканных чувств и размышлений. Это седеющий, молчаливый, сильный, хотя и усталый, человек. Он очень воспитан и потому не угнетает собеседника своей угрюмостью и своими познаниями. Мы разговаривали с ним сначала в столовой и сидели друг против друга на гнутых венских стульях. Такие стулья нагоняют зевоту. Комната была унылая, совсем непохожая на жилище светлого рыцаря в снежной маске. А в кабинете его вовсе не пахло нильскими лилиями и опьяняющим черным шелком женских платьев. Пахло только книжной пылью. Обыкновенная квартира в обыкновеннейшем доме. Ну вот! У вас уже вытянулись лица. Вы уже недовольны и будете потом говорить, что я скептик, циник и у меня ничего не горит на сердце. И еще обвините меня в том, что я вижу только серую загрузку, которая лезет из-под великолепных красок. А самих красок я не замечаю. Все это у вас розовый гимназический бред! Красота духа, такая, как у Блока, обойдется без золоченых рам. И без рыданий органа, и без всяческих благовоний. Блок был по натуре пророком. У него в глазах была даже пророческая твердость. Он видел роковую судьбу старого мира. Семена гибели уже прорастали. Ночь затягивалась, и казалось, что ей не будет конца. Поэтому даже неуютный, резкий свет нового революционного утра он приветствовал как избавление. Он принял революцию в свой поэтический мир и написал «Двенадцать». И он был, конечно, провидец. И в своих видени-

ях, и в той потрясающей музыке, какую он слышал в русской речи.

Он умел переносить увиденное из одной плоскости жизни совсем в другую. Там оно приобретало для нас, полуслепых людей, неожиданные качества. Мы с вами видим цветы, скажем – розы, в разгар лета в скверах, в садах, но Блоку этого мало. Он хочет зажечь на земле новые, небывалые розы. И он делает это:

И розы, осенние розы  
Мне снятся на каждом шагу  
Сквозь мглу, и огни, и морозы  
На белом, на легком снегу...

Вот вы жалеете, что не видели Блока. Это понятно. А я, если бы у меня было даже самое ничтожное воображение, пытался бы представить себе с конкретностью, какая только возможна, все, что сказал Блок хотя бы в этих четырех строчках. Представить себе ясно, точно, и тогда мир обернулся бы одной из своих скрытых и замечательных сторон. И в этом мире жил бы и пел свои стихи удивительный человек, какие рождаются раз в столетие. Он берет нас, ничтожных и искалеченных «правильной» жизнью, за руку и выводит на песчаные дюны над северным морем, где – помните? – «закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок» и «руки одна заря закинула к другой». Там такая чистота воздуха, что отдаленный красный бакен – грубое и примитивное со-

оружие – горит в сумерках, как «драгоценный камень фероньеры».

Я подивился хорошей памяти Бабеля: он всегда читал стихи на память и почти не ошибался.

– Вот, – сказал Бабель, подумав, – Блок знал дороги в область прекрасного. Он, конечно, гигант! Он один отзовется в сердце таким великолепным звоном, как тысячи арф. А между тем большинство людей придает какое-то значение тому, что в столовой у него стояли гнутые стулья и что во время мировой войны он был «земгусаром». Люди с охотой бегут на смрадный огонек предрассудков и невежественного осуждения.

Я впервые слышал от Бабеля такое сравнение, как «звон тысячи арф». Бабель был суров, даже застенчив в выборе разговорных слов. От всего цветистого в обыденном языке и блестящего, как золотая канитель, он досадливо морщился и краснел. Может быть, поэтому каждое слово из ряда так называемых приподнятых в его устах теряло искусственность и «било» наверняка. Но произносил он такие слова чрезвычайно редко, а сказав, тотчас спохватывался и начинал высмеивать самого себя. Этим своим свойством он иногда раздражал окружающих. В частности, Изя Лившиц не выносил этих подчас цинических нападений Бабеля на самого себя. И у меня тоже все столкновения с Бабелем – правда, довольно редкие – происходили из-за его глумления над собой и наигранного цинизма.

Но свой «звон тысячи арф» Бабель не высмеял. Я догадался из отрывистых его высказываний, что иногда он читал Блока наедине, по ночам, для самого себя. Тогда он сбрасывал маску.

Окончательно выдал Бабеля Багрицкий, любивший иногда с совершенно детским простодушием повторять чужие слова, если они ему нравились. Однажды, когда мы говорили о Блоке, Багрицкий откашлялся и не совсем уверенно произнес:

– Вы понимаете, мелодия только на арфах в унисон с глухим голосом поэта. Такой голос был у Блока. Я мог бы под звуки арф читать по-разному все его стихи. Честное слово! Я вытягивал бы, как тянут золотую нитку из спутанного разноцветного клубка, напев каждого стиха. Люди слушали бы и забывали, что есть время, жизнь и смерть, движение вселенной и бой собственных сердец. Какой-то чувствительный немецкий виршеплет, склонный к поэтическому насморку, написал-таки неплохие стишки. Я забыл, как его звали, этого многообещающего юношу. Стихи о том, что прекрасные звуки заключены внутри каждого человеческого слова. И звуки эти подчиняются только воле великих поэтов и музыкантов. Они одни умеют извлекать их из тугой сердцевины слова.

– Эдя, – сказал Изя Лившиц, – не повторяй и не искажай Бабеля. Я слышу дикую путаницу из его речей.

– Я так думаю сам, – скромно ответил Багрицкий.

– Да? – притворно удивился Изя. – С каких это пор ты

стал такой красноречивый?

– Отстань! – сердито ответил Багрицкий. – Довольно с меня мальчиков с иронией и отроков, умных, как белые крысы. Дайте мне наконец дышать, черт побери! Что вы все бегаєте за мной и стараетесь доказать мне самому, что я не такой умный, как вам хочется!

Мне удалось потушить ссору, но Багрицкий еще долго ворчал на «интеллигентных выкрестов» и «вундеркиндов с Привоза».

Он был обижен тем, что Изя не понял всей прелести начатого разговора и влез в него, как скучный черт из сказки.

Багрицкий жестоко оскорблялся недостаточно уважительным отношением к поэзии. из-за этого он иногда вступал даже в драки.

Вообще одесская литературная молодежь, кроме Бабея и нескольких поэтесс, отличалась задиристостью.

Иногда она пыталась решать литературные споры, даже такие отвлеченные, как спор о дольнике или александрийском стихе, тумаками, а то и хлесткими оплеухами.

# СКАНДАЛ С БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

В городе появились афиши цвета жидкого помидорного сока. Они сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов.

Наискось через всю афишу большими буквами была от-  
тиснута черная надпись:

**«В конце вечера будут бить  
поэта Георгия Шенгели!»**

Внизу в скобках кто-то чернилами приписал:

**«Если он осмелится прийти».**

Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов.



Изя предполагал, что надпись на афише об избииении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели.

Поэт Георгий Аркадьевич Шенгели был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов я пришел к мысли, что вражда к Шенгели была литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы.

Шенгели, по-моему, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин, противника, чем был им на самом деле.

Тонкое лицо Шенгели во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора. Изя говорил, что бюст Шенгели был бы украшением римского Фोरума.

– Или, может быть, Пантеона? – неуверенно спрашивал он меня, и в глазах его появлялась тревога.

Шенгели был высок, глаза его по-юношески сверкали. Он ходил по Одессе в тропическом пробковом шлеме и босиком. При этих внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным.

Эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов – юношей нарочито развязных, гордивших-

ся тем, что они не заражены никакими «штучками», в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость.

Я впервые увидел Шенгели в Москве в начале мировой войны на поэзо-концерте Игоря Северянина. Он читал свои стихи в перерывах между чтением самого Северянина. То были стихи о его родной щебенчатой Керчи, о древнейшей земле, где «в глине одичалой спят сарматы, скифы, гунны, венды, – и неоглядные легенды неувядаемо томят».

Он сказал о себе:

Несу в себе дыхание приливов,  
И кровь моя, как некогда, нагрета  
Одною с южным морем теплотой...

Мне всегда казалось, что я мог бы с таким же увлечением, как и писательством, заниматься некоторыми другими вещами: мореплаванием, археологией или вторичным географическим открытием давно открытых земель.

Археология была наукой о древности. Древность с детства была воплощена для меня в беге ветра над ковылем, в спекшихся от зноя, старых, обезлюдевших землях, куда тот же ветер нет-нет да и донесет свежесть близкого взморья, в разбитом изразце, изготовленном худыми сизыми пальцами иранского гончара, наконец, в черной глиняной трубке в виде носа ахейского корабля, потерянной запорожцем вблизи соленых озер Перекопа. Всегда меня привлекал цвет древних зе-

мель – ржавый, рудой, суровый.

Такими я всегда представлял себе старые области земли. Когда я впервые увидел эти области, то был радостно поражен тем, что красок, свидетельствующих о баснословном возрасте Земли, было гораздо больше, чем я предполагал.

В этом я окончательно убедился, когда попал в архипелаг, в Грецию и Италию. Там ржавая земля издали проступала сквозь индиговый воздух утренних далей или сквозь величавую и мутную медь вечеров. Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом лилового ионического вечера.

Скупые и резкие краски древности больше соответствуют югу, чем северу. Там они заметнее. Там они чаще встречаются.

Где-нибудь в Риме вы заметите из окна отеля, как по свежим газонам сыплется искусственный дождь из вращающихся никелированных трубок, и тут же увидите стариннейшую землю совсем рядом, хотя бы на мощной арене Колизея.

Он кажется столь же старым, как небо над Римом, над близкими Апенниннами, над перегорелой в цементный прах Калабрией.

Калабрия дымится зноем, как исполинский пожар во время безветрия. Ее берега пахнут кремнем, из которого только что высекли искру. И если бы не густое, фиолетовое, свежее пространство морской воды, омывающей эту сухую страну,

то вид ее вызывал бы у нас содрогание, как преддверие ада.

По существу чувство древности ничем не отличается от чувства вечности, от чувства эпох, уже пронесшихся над землей, и чувства будущего. Как бы там ни было, но человек не перестанет размышлять и видеть в своем воображении развороты и прошлых и будущих времен. Чувство времени с особой остротой возникает почему-то на морских побережьях.

Я отвлекся от постепенности повествования, но сейчас, пожалуй, можно сделать отступление и сказать несколько слов о том, что являет собой ощущение моря и морских побережий.

Море можно увидеть с палубы океанского корабля и с низкой палубы рыбацкой шаланды.

С палубы шаланды вы не только увидите море вблизи, но можете даже услышать совсем рядом крепкий запах морской воды как раз в то время, когда шаланда будет проходить мимо подводных камней. Они на мгновение обнажатся от перекатившей через них воды и откроют косматую мокрую шкуру из густых водорослей.

И вот в это мгновение – от волны до волны – водоросли выдохнут резкий запах, и вы сможете набрать его полные легкие – до головокружения, до темноты в глазах.

С высоких палуб лайнеров запаха моря не слышно. Его заглушают запахи горячего машинного масла, табака и ароматической жидкости для уборных.

Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чебрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями.

Так морем пахнет только в таких портах, как Керчь, Новороссийск, Феодосия, Мариуполь или Скадовск.

Есть курортные побережья, застроенные голубыми киосками для мороженого, заставленные гипсовыми статуями спортсменов и пионеров, переполненные тубетейками, сандалетами, полосатыми пижамами и мохнатыми полотенцами. И есть берега, сожженные тысячеletним солнцем – отблеском огромных южных вод, горячими токами воздуха – чистейшего в мире.

От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет – охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, – цвет незапамятных времен, цвет вечности. И на эти ржавые берега, на обнаженную, окаменелую глину равномерно набегают из столетия в столетие неисчислимые волны.

Запахов, шумов и красок настоящего моря великое множество. Если бы у меня было время и если бы мной не владела ложная боязнь нарушить равновесие прозы, то я охотно расширил бы это внезапное отступление до размеров книги.

Я должен признаться, что я могу с таким же увлечением читать путеводитель по Греции, «Письма из Испании» Боткина и дневники Миклухо-Маклая, как и пересыпать в ладонях морской песок, отдыхая при этом всем существом и чувствуя, как ветер время от времени ласково похлопывает меня своими прохладными, сырыми ладонями по щекам. Он как бы радуется, что на пустынном пляже – вплоть до туманно-синеватых мысов, как бы сосущих на горизонте, как медведи, морскую воду, – нет ни одного человека, кроме меня.

Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест – необъятно старый – слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте.

Мы с трудом прорвались с Изей и Яшей Лифшицем в зал на вечер поэтов. Там среди неистового шума, смеха и легкого свиста поэт Чечерин кричал грубым басом свои стихи.

Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут – сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его.

Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом.

А я, тухлявая колода,  
Годами выветренный гроб...

Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывается щемящая и невообразимая нежность:

Мне хочется про вас, про вас, про вас  
Бессонными стихами говорить

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина. На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева.

Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться.

– Неужели это все поэты? – спросил Яша Лифшиц. У него была склонность задавать наивные вопросы. – Тут их хватит на целое государство среднего европейского размера.

Шенгели сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в сенат, запыленные и загорелые римские легионеры.

– Слава богу, – вздохнул с облегчением Изя, – он пришел. Скандал обеспечен.

После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочел свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в соленую. Стихи понравились, но не вызвали оваций. Ждали

скандала и, очевидно, берегли для него силы.

Кирсанов – тогда еще безусый мальчик, очень задиристый и крикливый – все время вскакивал и безо всякой связи с тем, что происходило на эстраде, что-то вызывающе кричал Шенгели. Но Шенгели сидел непоколебимо. Кирсанова это, очевидно, возмущало, и он снова вскакивал и кричал в сторону Шенгели что-то явно оскорбительное.

Позади Кирсанова сидел толстый юноша с заспаным лицом. Он каждый раз дергал Кирсанова сзади за куртку и силой заставлял его сесть. Куртка трещала. Кирсанов отругивался и садился, чтобы через минуту снова вскочить.

Вместе с Кирсановым шумело еще несколько мальчиков.

Скандал никак не разгорался. Бесплодное ожидание скандала вызывало у публики досаду. Она начала недовольно шуметь.

– Я не понимаю, зачем они так ненатурально кипятятся, эти поэты? – спросил Яша Лифшиц. – Что происходит? Выборы короля поэтов? Или раздача Нобелевских премий? Чего они хотят?

Изя, бывший в курсе поэтических схваток, ничего не ответил.

А потом на вечере возникли неожиданные события. Они вконец запутали публику.

Какая-то актриса начала читать, подвывая, стихи Мирры Лохвицкой. Надо признаться, что это было придумано неудачно. Чтение было встречено недовольным гулом. Но



очень скоро гул этот перешел в гневный рев.

– К черту бисерные стишки!

– К дьяволу гибкий стан Мирры Лохвицкой!

– Прочтите лучше «Дышала ночь восторгом сладостра-  
стья»!

Актриса – пегая блондинка с висевшими, как плети, го-  
лубоватыми руками – схватилась за край стола и театрально  
зарыдала.

Тогда вскочил Шенгели. Старинное рыцарство забушева-  
ло в нем. Толпа поэтов с их растрепанными подругами по-  
смела оскорбить ни в чем не повинную женщину! Позор!  
Шенгели крикнул в зал несколько оскорбительных слов.

Тотчас вскочил Багрицкий. Я был уверен, что он обру-  
шится на своего недруга Шенгели, но Багрицкий обернулся  
к публике и сделал бурное движение, будто хотел нанести  
всей этой толпе страшный нокаутирующий удар. Он сильно  
замахнулся правой рукой, дико вскрикнул, потерял сознание  
и рухнул на пол.

Зал бушевал в смятении. Трудно было сообразить, что  
произошло. Вызвали скорую помощь. Нарбут, не дрогнув ни  
одним мускулом на лице, закрыл вечер.

У выхода завертелись людские водовороты около споря-  
щих с пеной у рта и наскაკивающих друг на друга юношей и  
девушек. Поощрительные выкрики и оскорбления носились,  
как теннисные мячи, из конца в конец взъерошенного зала.

Санитары раздвинули толпу и провели к машине белого

от боли Багрицкого. Он уже пришел в себя и сказал нам, криво улыбаясь:

– Я, кажется, сломал себе руку в плече. Или вывихнул... Эти сопляки не сумели даже устроить скандала.

Его увели. Мы с Яшей Лифшицем прорвались через поэтов и их приверженцев и вышли на просторную Пушкинскую улицу.

– Что, собственно говоря, произошло? – снова спросил Яша. – Бедлам? Кабак? Или просто мальчишество? Да еще в такое трудное время! Глупо!

Он был возмущен. Мы увидели Изю и окликнули его. Вид у него был удрученный.

– Драка не вышла, – сказал он растерянно. – Не надо было им затевать эту галиматью и хвататься, что они действительно будут бить Шенгели. Наше счастье, что публика не догадалась потребовать деньги обратно.

– В чем же дело, Изя? – спросил я его.

Тогда Изя рассказал по секрету, что вечер был устроен для помощи беспризорным. Этой помощью в то время ведала особая Детская комиссия при ВЦИКе. Ее уполномоченный договорился с одесскими поэтами об этом вечере. Было решено, чтобы обеспечить полный сбор. устроить какую-нибудь сенсацию. Долго ломали голову над тем, что бы такое придумать позабористей.

Кто-то из поэтов предложил разыграть литературный скандал с избиением Шенгели. Это показалось новым и ори-

гинальным.

Шенгели охотно согласился стать героем скандала со столь благородной целью.

Скандала не получилось потому, что далеко не все поэты были посвящены в этот замысел. Но все равно билеты были раскуплены нарасхват, и уполномоченный Деткомиссии пребывал в полном восторге. Он даже мечтал повторить такой вечер.

На Гаванной улице был открыт игорный дом. Вся выручка из этого дома шла на помощь беспризорным. В доме играли в особого рода рулетку – игрушечные бега – «Пти шво».

Я как-то зашел туда вместе с Торелли. Табачный дым провисал, как слоистое небо. Остатки светлого пива в мутных кружках настаивались на раскисших окурках. Бледные юноши в морских фуражках-капитанках играли зловеще и молча.

Крупье – старик с пробритым в скудных сединах английским пробором – говорил как заводной, не делая пауз, жестяным голосом:

– Игра сделана! Ставок больше нет! Гражданин, уберите вашу пятерню со стола. Она мне определенно мешает. Уберите! Пока не поздно. И не позволяйте себе нецензурных изречений. Вы в заведении, а не в бордели. Граждане играющие! Я прекращаю игру, пока этот уркан не уберется отсюда. Воздействуйте на него словами! Или я вызову милицию. Все! Кончено! Игры не будет! Забирайте ваши ставки обрат-

но! Казино закрывается!

Тогда вставал какой-нибудь здоровенный парнюга в клетчатой «мальчиковой» кепочке и мохнатом кашне, с папирской во рту, подходил к уркану, молча хватал его за грудь, срывал со стула (при этом стул обязательно с грохотом падал), толкал к двери на вытянутой руке и вышвыривал на улицу. Над дверью каждый раз испуганно вскрикивал сохранившийся еще с дореволюционных лет колокольчик. Во время всей этой сцены было слышно только тяжелое двойное сопение – парнюги и уркана.

Парнюга возвращался к столу. Крупье говорил ему:

– Мерси боку, молодой человек! Ценю ваше мужество. Игра продолжается. Ставьте смелее. Чем дольше будете думать, тем вернее собьете с толку свою счастливую судьбу-индейку. Или копейку? Как это там у вас говорится?

А вышвырнутый стоял на тротуаре, хватал за руку входивших в казино и проникновенно говорил им:

– Наплюйте мне в очи, пусть я буду подлюгой, если я не кокну того Юрку с Арбузной гавани, а этому крапчатому крупье не разобью сопатку! Куда вы?! Я вас прошу, молодой человек, быть моим свидетелем. Ах, вам некогда? А я вас все-таки покорнейше прошу-у!

При этом он расстегивал пиджак и начинал угрожающе наваливаться на прохожего могучей хрипящей грудью.

– Дайте тогда хоть пять тысяч, – говорил он пьяным, доверительным шепотом. – Я сделаю из них миллион. Полови-

на ваша. Не доводите человека до крайности.

Отвязаться от него было трудно. Все предпочитали от него откупиться.

Мы с Торелли тоже откупились от него. Оставшиеся у нас деньги мы проиграли с одного раза. При этом крупье, морщась от злого дыма сигарки, холодно сказал:

– Не вижу с вашей стороны риска. Макаронная работа, пижоны!

Мы ушли оскорбленные. Потом я несколько раз заходил в казино, но не играл. Я следил за крупье. Меня интересовало в нем органическое слияние наглой вежливости, презрения к людям и невероятной грубости. Я хотел узнать, кем был этот старик в прошлом. Торелли рассказал мне, что это бывший оперный бас. Однажды Торелли даже слышал его в роли Мефистофеля.

# ЗАМЕДЛЕННОЕ ВРЕМЯ

В августе я получил отпуск в «Моряке» и решил провести его в Овидиополе.

Степной этот городок на берегу Днестровского лимана, погруженный в захолустную летаргию, считался местом ссылки и смерти великого римского поэта Овидия Назона. За это городок и был назван Овидиополем.

На самом же деле Овидий умер гораздо южнее, около устья Дуная, в поселке римских каторжан. Перед смертью он жаловался на скифский холод и бурное и угрюмое Черное море.

Я не понимал, как Овидий мог считать Черное море угрюмым. Это было одно из самых ярких и веселых морей. И о каком скифском холоде можно говорить в тех местах, где снег выпадал не каждую зиму? А если и выпадал, то лежал всего несколько дней, потом таял, и оттаявшая земля слабо пахла весной.

В тот 1921 год осень стояла перегоревшая и высушенная до сердцевины. Идти пешком до Овидиополя было трудно – не столько от жары, сколько от косматой пыли. Она носилась шумящими смерчами по шляхам. От этой несмываемой пыли люди сразу же делались бурыми, как кафры.

Поэтому я не пошел к Днестровскому лиману, а решил идти вдоль морского берега по заброшенным Фонтанам до

последней станции трамвая. Эта станция называлась «Дача Ковалевского». По своей привычке никогда не ездить вслепую я достал книгу «Старая Одесса» и прочел в ней все, что относилось к даче Ковалевского.

Делал я это из тех соображений, что даже небольшое предварительное знание тех мест, где мы собираемся жить, заставляет нас относиться к ним гораздо внимательнее, чем если бы ничего о них не знали.

В «Старой Одессе» я вычитал, что некий одесский одинокий богач Ковалевский купил кусок сухой прибрежной степи, построил над морем дом и рядом с ним – высокую круглую башню, похожую на маяк. У башни этой не было никакого назначения. Ковалевский построил ее, как говорят дети, «просто так», из прихоти. Он несколько раз пил на верхней площадке этой башни чай, а потом наконец бросился с башни и разбился насмерть.

Дом быстро превратился в руины. Никто не хотел покупать громоздкое и мрачное сооружение, а башня сохранилась и упоминалась во всех лоциях-руководствах для плавания по Черному морю. Оказывается, эта башня была хорошим ориентиром при подходе к Одессе. Поэтому башню охраняли и не позволяли разбирать по камням.

Я знал, что рядом с башней Ковалевского было несколько пустующих дач, и решил поселиться на любой из них, какая мне больше понравится.

Я шел из Одессы до дачи Ковалевского медленно и долго.

Вышел я с Черноморской, как только начало светать.

Хотя по пути ничего не случилось, но я запомнил дорогу от города до дачи Ковалевского так подробно, что потом в любой день и час мог проследить ее по памяти шаг за шагом.

Я полюбил эту дорогу и много раз после этого в разные годы добирался туда из Одессы пешком, хотя уже ходили трамваи и автобусы и даже носились, пыля, такси.

Вся прелесть этой дороги, вся ее власть надо мной объяснялась близостью моря. Нигде эта дорога не отходила от берегового обрыва настолько далеко, чтобы не было слышно шума волн и запаха водорослей.

Стоило мне нагнуться, поднять на дороге белый камень и сдуть с него пыль, чтобы, даже не глядя, сказать, что это горячий от полуденного зноя морской зернистый голыш, и почувствовать досаду оттого, что невозможно описать жизнь этого куска камня, длившуюся много тысячелетий.

Все на этой дороге пахло морем и солнцем, даже пустые ларьки, где в какие-то баснословные времена торговали квасом. Краска на этих ларьках потрескалась, отваливалась плоскими ромбами и пахла солнечным жаром. Пустой цинковый прилавок позеленел от пыльцы лебеды и полыни. И вся дорога тоже была зеленоватой от этой пыльцы.

От оград, будто сложенных из каменной губки, тоже пахло морем. В камень оград вросло бесчисленное количество мелких морских ракушек. Они поблескивали изломом перламутра и царапали руки.



Иногда густую дорожную пыль пересекал след от рыбацкой сети. Ее протащили здесь на рассвете. Сеть пригладила пыль и оставила на ней клубки шершавых водорослей и уже успевших засохнуть фиринок, как бы вырезанных из свинцовой бумаги. Водоросли были мокрые и горячие внутри, пахли рассолом, и от них шел пар.

Ящерицы бегали по крышам, по оранжевой марсельской черепице. Мне представлялось, что изготовление этой черепицы (конечно, где-то на юге Франции, около Марселя или Тулона) – занятие неторопливое, связанное с древними ремесленными секретами и потому довольно романтическое. Я был уверен, что заводы марсельской черепицы обязательно строились вблизи морских берегов.

Мне хотелось изучить производство этой черепицы и написать об этом небольшую книгу. Не знаю, получили бы читатели от такой книги какие-либо полезные сведения, но, во всяком случае, я постарался бы заразить их поэзией этого производства.

Марсельская черепица нравилась мне еще и потому, что была связана с югом и морем. Как только за окнами поезда Москва – Одесса возникали в стекленеющей дали красные черепичные крыши, я знал, что море уже недалеко.

Кроме того, морской прибой всегда выбрасывал отполированные черепки марсельской черепицы. Я никогда не уставал любоваться ее сочным морковным цветом и тонкой зернистой фактурой.

Кое-где в садиках большефонтанских рыбаков висели пыльные кисти винограда. Продолговатые ягоды пахли му-скатным орешком и просвечивали розовым соком. Я выме-нял одну такую кисть на три закурки табака.

За Большим Фонтаном дорога отклонилась в степь. Дачи остановились позади, не решаясь выдвигаться в слепящий жар. По сторонам большака шелестели невесомые листья ку-курузы. Початки были выломаны, собраны, и сколько я ни смотрел, я не увидел ни одного забытого початка.

Звенели подземные цикады, плыл зной, изредка начинали тихонько трещать все сухие стебли. Я радовался этому по-трескиванию: оно означало, что с моря задувает хотя и сла-бый, но освежающий ветерок.

Вот небольшая часть того, что я видел и о чем я думал по пути к башне Ковалевского. И все время бок о бок со мной играло, как расплавленная ляпис-лазурь, великолепное море – бездна свежести и успокоительного шума.

Я дошел до башни Ковалевского, когда жара уже нача-ла спадать. Я увидел над морским обрывом несколько дач, окруженных садами. Все окна и двери на этих дачах были выломаны. Сады заросли высокой высохшей травой.

Я выбрал себе дачу с дощатой вышкой. Наверх вела вин-товая чугунная лестница. Она не была сломана.

Наверху каким-то чудом сохранилась дверь на балкон и ставня на единственном окне, самого окна уже не было. Главное, сохранился деревянный пол.

Вблизи стояло еще пять полуразрушенных дач. Там никто не жил, кроме ласточек и серых ящериц.

Я решил поселиться в комнате на вышке. Я чувствовал себя в ней, как на маяке.

Редко я испытывал такую полную свободу и сознание, что я вправе жить так, как хочу, что я целиком предоставлен себе, что я одновременно и Робинзон и отшельник и мне подчинено все мое время и все будущие дни. И то, чем люди обыкновенно тяготятся – житейские заботы и мелкие хозяйственные поделки, – казалось мне занятием легким и даже приятным.

Мне приятно было наломать сухой полыни и чернобыла и сделать большой пышный веник, чтобы подмести дачу.

Еще засветло я спустился на берег и собрал там много сухих, свалявшихся в мягкий войлок водорослей. Я выбирал только старые водоросли, выветренные и потерявшие лекарственный запах. Это была прекрасная подстилка для спанья на полу.

Давно уже известно, что чем меньше у человека вещей, тем они милее, тем крепче каждая вещь связана с биографией и тем большее значение она приобретает при любых обстоятельствах.

Я разобрал свой рюкзак. С чувством благодарности я вытащил из него коптилку, пузырек с бензином, две пачки табака, сухари, сахарин, сушеный чай из моркови, грубую красную соль, крупу и еще кое-какие продукты. Со дна рюк-

зака я достал тельняшку, тетради, самодельные чернила из химического карандаша и несколько книг.

Все остальное надо было добывать на месте – в «степу» или в море.

Я взял с собой самоловы и большой запас посеребренных крючков. Одесские рыбаки считали, что морская рыба охотнее берет на белые крючки, чем на черные или бронзированные. По-моему, это был совершеннейший предрассудок, но благодаря ему я выменял в рыбацьем поселке на 16-й станции на посеребренные крючки бутылку мутного подсолнечного масла и с тех пор почувствовал себя крезом.

Первую ночь я провел в томительном, но приятном состоянии неполного сна и неполного бодрствования. Я спал, но ясно слышал шум волн, стрекотание цикад, шорох осыпей и нежный скрип старого электрического провода. Он качался весь день на столбе около чугунной калитки.

Иногда все звуки внезапно исчезали, и только через несколько минут кто-то вдруг вздыхал в степи, как огромный зверь, укладываясь поуютнее спать.

Я закрывал глаза, а когда через мгновение открывал их, то синий полусвет уже заливал комнату до самого потолка. Его нельзя было отличить по цвету от неба. Небо виднелось за окном сплошной и мглистой бездной. В его синеве рождались полосы багровых туч. Должно быть, приближался рассвет. Но я не сразу сообразил это и продолжал дремать, просыпаясь через каждые десять минут, и каждый раз удивля-

сь, что из мрака, как фотографическая пленка, все яснее и подробнее проявлялась моя комната.

Окончательное утро наступило, когда на перила балкона сел маленький «птичник» и сказал, присвистывая:

«Осы спят, осы спят, осы спят, ты не спи!»

«Не спи, не спи!» – повторил он настойчиво, и я увидел, как желтый хохолок на его голове загорелся, как пушистое пламя, от первого солнечного луча.

Солнце казалось чрезмерно огромным для того, чтобы, вставая над тысячами километров земных пространств, осветить в первую очередь только один-единственный хохолок птицы, похожий на маленький моток шерсти.

Я встал и пошел купаться к морю. Берег был крутой, в иных местах почти отвесный. Спускаться было просто опасно.

В то же утро я залез в люк под террасой и нашел там заржавленную лопату и еще несколько очень нужных вещей – молоток, кучу погнутых гвоздей, моток проволоки и большую жестяную банку с надписью «Монпансье Ландрин».

Я забрал все эти вещи. Они мне оченьгодились, «пришлись впору», и – такова человеческая забывчивость – через несколько дней я уже был уверен, что если бы не нашел этих вещей, то не смог бы прожить на даче и одного дня. Например, в чем бы я держал пресную воду из ключа, чуть сочившегося под кустом тамариска на обрыве, если бы не жестяная банка? Или чем бы я расплющивал свинец на грузила,

если бы не нашел молотка?

Но самой дорогой находкой после жестяной банки от монпансье была, конечно, лопата.

Я не спеша работал три дня и прокопал в самой отвесной части береговой кручи ущелье-тропу со ступеньками – своего рода узкую земляную лестницу.

Эта земляная, «грабарская» работа мне нравилась. На срезах от лопаты глина блестела янтарным лаком. В этих же срезах были видны невероятно длинные и мощные корни какого-то растения, подымавшегося над землей всего только на пять сантиметров.

Все это было прекрасно. Но лучше всего было ошеломившее меня в первое же утро открытие, что весь этот сухой берег с его колючками, осыпями, золотым дроком, ветрами, зернистым пляжем, грудями водорослей, небом и облаками, все это жаркое и лиловое побережье не принадлежит никому или, вернее, принадлежит только мне одному.

Я не встретил за неделю ни души.

Если бы я захотел, я мог бы вырыть в обрыве замечательную пещеру. Или запрудить родник и устроить на берегу озерцо. Или сложить на пляже пирамиды из седых от соли обломков дерева, старых шляпочных шпангоутов и деревянных поплавков от сетей. Или срезать ветки туи и разбросать их по полу в своей комнате, чтобы дышать смоляным запахом. Никто не мог запретить мне этого.

В конце концов я так и сделал. Жилище мое обросло слу-

чайными, но интересными вещами. На соседних брошенных дачах я нашел железный фонарь, песочные часы и китайский зонтик. Все это я забрал в свою комнату.

Дни шли медленно. Солнце никуда не торопилось.

Время как бы замирало, замедляя шаг. Ему, должно быть, хотелось совсем остановиться.

Но я знал, что на смену утру взойдет новый неизменный день – настолько неизменный, что все эти дни вот уже в течение недели представлялись мне одним сплошным и нескончаемым днем.

Я привык к жаркой непрерывности этого сплошного дня (ночи казались созданными только для передышки от жестокого дневного света), к его монотонному гудению, как будто в глубине земли звучала медная струна, к тому, что воздух, накаляясь, терял прозрачность и походил на твердеющее стекло, и, наконец, к тому, что синева неба была неравномерна. Она то сгущалась, то бледнела под нажимами ветра.

Говорят, что человеку время от времени полезно пожить в одиночестве.

На опыте своей жизни я знал, что есть много видов одиночества. Перечислять их я не буду, но знаю, что есть одиночество в толпе и одиночество лесное, есть одиночество, сопутствующее горю, и есть, наконец, морское одиночество, зачастую близкое к состоянию безмолвного душевного подъема.

Это тот безмолвный подъем, когда человек даже враждебен всякому разговору. Он предпочитает молчать. Да что скажешь на нашем плоском языке, когда твое перегретое за день темное тело вдруг захлестнет и охладит взбитая предвечерним прибоем и ветром морская нежнейшая пена. Она будет таять на тебе, покальывая кожу пузырьками душистого газа, и прикасаться к воспаленной коже свежо и осторожно, как ветер с тех островов, где до сих пор еще, может быть, спят в земле бронзовые девственные Дианы.

А может быть, это прикосновение больше напоминает влажные после купания девичьи косы.

В морском одиночестве, в этой встрече с глазу на глаз с рокочущим простором, всегда присутствует сознание если не бессмертия, то, во всяком случае, длительных лет, которые всегда дарит нам море.

Я проводил на берегу все дни до заката. Я часто засыпал в тени большой скалы. Я читал по строчкам книги и по целым часам мог смотреть на свитки летучих облаков. Очевидно, в состав счастья входит и состояние беззаботности, отсутствие самых ничтожных тревог.

Очевидно, это именно так, потому что я был счастлив тогда. Чистый, первобытный, ничем не оскверненный свет спускался на землю, и я совершенно забыл, что такой нечаянный и огромный душевный покой, по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным.



И возмездие, конечно, пришло.

Как-то я лежал на берегу, глядя сквозь прищуренные ресницы на разноцветные огненные шары, – они вертелись передо мной в каком-то сиреновом пространстве. Я соображал, что это за пространство – воздух ли над морем или, может быть, это небо, изменившее по капризу фиолетово-черный цвет и пожелавшее немного поблестать серебряным свечением и легкой желтизной.

Пока я размышлял над этим, с высокого обрыва донесся слабый человеческий крик. Я обернулся и увидел на краю спокойной небесной синевы человека, махавшего кепкой. Человек этот держал за руку маленькое существо в красном выгоревшем сарафане. Существо тоже нерешительно махало мне тонкой, как соломинка, лапкой.

– Привет! – кричал человек с обрыва. – Рад видеть вас в добром здравии, Константин Георгиевич! Поднимитесь к нам на минутку!

У меня екнуло сердце. Так я и знал, что кто-нибудь достигнет меня в этом уединении и вдребезги разобьет редчайший сон, в котором я пребывал последние дни. Даже хорошее слово «привет» прозвучало фальшиво и пошло среди сурового зноя степей, шелеста сарматских трав и шума понтийских вод.

Я нехотя встал и полез на обрыв, стараясь догадаться, что это за человек с девочкой и что ему от меня нужно.

– Вы молодец! – кричал между тем незнакомец. – Отшель-

ник! Схимник! Робинзон! Матрос Селькирк! Симеон Столпник! Жан-Жак Руссо!

Я лез на кручу, сдерживая закипавшую ярость, и молчал, чтобы не выругаться, а человек продолжал насмешничать надо мной на границе рыжей земли и густого великолепного неба. Он кричал:

– Одиссей! Миклухо-Маклай! Флибустьер! Ифигения в Тавриде! Великий немой!

Я наконец поднял голову, чтобы одернуть этого фигляра, и узнал в нем Васю Регинина. Он держал за руку свою шестилетнюю девочку Киру и смеялся.

– А ловко я разыграл идиота на берегу этого моря, воспитанного академиком Айвазовским? – спросил он меня и протянул руку, чтобы помочь мне одолеть последнюю крутую ступеньку. (Это были те ступеньки, которые я сам недавно выкопал и очень ими гордился.) – Сознайтесь, что вы обозлились. Я просто чудом вас нашел. Торелли сказал, что вы должны жить где-то здесь, около башни Ковалевского.

Девочка исподлобья смотрела на меня темными, очень синими глазами и держалась за локоть отца.

– Пойдемте на мою виллу, – предложил я. – Ну, как в городе? Ничего не случилось?

– Да нет, особенного ничего, – ответил Регинин, и на глазах у него вдруг появились слезы. Они как-то внезапно наполнили его глаза. Несколько капель скатились по щекам и упали на измятую, застиранную рубаху.

– Перестань, папа, – строго сказала маленькая девочка, – Я здесь останусь. Я не боюсь.

Регинин, вытирая слезы дырявым носовым платком, рассказал, что жена его заболела сыпным тифом, лежит дома в бреду и он в полном отчаянии и смятении привел девочку ко мне, так как в городе ее некуда устроить. Держать ее в одной комнатухе с матерью нельзя. Друзей у него в Одессе нету, и вот... Голос его осекся. Губы у девочки вдруг опустились, задрожали, и она снова сказала:

– Хорошо, я останусь здесь с дядей...

– Костей, – подсказал Регинин. – Оставайся. Как только мама выздоровеет, я приду за тобой. Вы ведь здесь еще долго пробудете? – спросил он меня.

Я смешался.

– Да, – ответил я. – Сколько нужно, конечно.

– Ну, оставайся, мое доброе маленькое сердце, – Регинин наклонился и прижался губами к голове девочки. – Люби дядю Костю. И слушайся его. Он наш большой друг.

Он протянул мне руку и, не глядя на меня, пробормотал:

– Ну, я пойду. А то Мария Ивановна лежит одна. У нее бред.

Он повернулся и ушел, а я, растерянный, остался рядом с девочкой в пустой жаркой степи. Я даже не заметил, что Регинин ничего не принес с собой для девочки, никакого, даже самого маленького, узелка с вещами. Она пришла в том, в чем была. Я смотрел вслед Регинину, как вдруг почувство-

вал, что горячая и потная маленькая рука взяла меня за палец, и девочка сказала:

– Давайте будем здесь жить, как в игре.

Трудно было понять, что она хотела сказать этими словами, но с тех пор жизнь в степи действительно пошла, как в игре, – то как явь, то как сон.

С тех пор страх за жизнь этого хрупкого, как стрекоза, существа держал меня за горло и за сердце и не отпускал, пока наконец Регинин не прислал за нами Торелли. Но это случилось, насколько я помню, не раньше чем через три недели.

Так я и жил в состоянии страха, отчаяния, жалости и умиления. Все эти чувства слились в одно, не имевшее имени. Оно то ослабевало, то захлестывало болью даже от такого пустяка, как вытаскивание занозы из худенького и дрожащего пальца.

Но в конце концов у меня на руках была маленькая доверчивая жизнь, и я взял себя в руки. Тем более что у меня осталось очень мало продуктов, совсем не было мыла и, кроме моей потрепанной кожаной куртки, ничего не нашлось, чем бы укрыть девочку. А ночи уже холодели, и запах осени все чаще проникал на рассветах в комнату.

До сих пор я не понимаю, почему я в те дни не поседел от отчаяния. Я боялся всего: палящего солнца (мне все время чудились солнечные и тепловые удары у девочки), обрыва над морем (ей ничего не стоило сорваться с него и разбиться насмерть, и потому я благословлял ступеньки, выкопанные

мною в твердой глине), холодных ночей (девочка наверняка должна была простудиться), штормов с их ветрами, голода (я подсчитал, что продуктов нам хватит всего на семь дней).

Все книги, все созерцания и счастливые мысли вылетели у меня из головы. Их как будто и не было. И, должно быть, от чрезмерного страха я даже не замечал в первые дни, что девочка все время мне помогает – собирает щепки и сухой бурьян для очага, подметает дачу и сад полынным веником и приносит в жестянке от консервов воду из родника. Правда, она несла ее почти час, чтобы не расплескать ни капли.

Она редко меня о чем-нибудь спрашивала и предпочитала догадываться обо всем сама без моей помощи.

Она почти не плакала. Но однажды, когда с обрыва сорвался камень и поранил ей ногу, она рыдала так отчаянно, как может рыдать брошенный ночью на пустыре ребенок. Она вся дрожала и цеплялась за мою шею, когда я перевязывал ей чистой тряпочкой горячую окровавленную ногу.

Я, конечно, понимал, что плачет она не оттого, что камень ушиб ее и поранил, а от непомерного горя, что накопилось в ее жизни за последние дни.

Самое ужасное заключалось в том, что нельзя было зарыться мокрым от слез, горячим лицом на маминой груди и, всхлипывая и несвязно жалуясь, понять, что во всем мире есть только один человек, который может отдать ей всю свою ласку, любовь и защиту. И этот человек – мама.

Но мама лежала в тяжелой горячке в Одессе. Мама, может

быть, даже умерла. Об этом нельзя было подумать, чтобы не умереть самой. И обе они – и мама и она – жалели теперь о каждом часе, когда разлучались в прошлом. Потому что им оставалось на час меньше любви друг к другу и на час ближе подходила та черная ненужная пропасть, какую люди зовут смертью.

Я был уверен, что именно такое состояние было у девочки, и не знал, что сделать, чтобы заставить ее хотя бы изредка засмеяться. Пока она только чуть-чуть улыбалась, но я был уверен, что она это делала, только чтобы меня успокоить.

Тот, у кого нет детей, никогда не поймет, как близко от нас, где-то совсем рядом, лежит бессмысленный мир трагических случайностей. И вряд ли поймет, что такое всепоглощающая любовь.

Надо было жить, конечно. Жизнь наша была суровой. Но я так был поглощен заботами, что не замечал этого.

А забот появилось столько, что я, пожалуй, не смогу их все перечислить.

Во-первых, умывание. Купались мы в море, но после этой необъятной чаши воды, брызжущей в лицо едкой солью, надо было обмыться пресной и ледяной водой из родника.

Мыла не было. Приходилось оттирать лицо и руки мелким песком. Но через несколько дней я заметил в обрыве у самого пляжа вкрапленную в известняк полоску синеватого окаменелого ила.

Я с детства помнил бруски мыла «Кил». Оно прекрасно мылилось в морской воде и делалось из какой-то синей крымской глины. Я даже помню этикетку севастопольского мыловаренного завода Харченко с рисунком якоря и портретом пышноусого дяди – владельца завода, который осчастливил человечество изготовлением мыла «Кил».

Я отковырял несколько кусочков синей глины и попробовал потереть ею мокрые руки. Руки покрылись слизью. Я смыл слизь и увидел под ней совершенно чистую кожу.

– Это кил! – крикнул я Кире.

– Кил, кил, кил! – впервые закричала она, прыгая около меня на здоровой ноге.

Кира собирала кил, размачивала его, месила, как тесто, лепила из этого теста маленькие бруски и сушила их на солнце. Наконец-то я выстирал с величайшими предосторожностями свою рубаху и единственный Кирилл красный сарафан. Тут же мы высушили все это на песке.

Правда, половина ниток в сарафане приобрела после стирки чистый серый цвет и кое-где появились дыры, но зато от сарафана долго пахло морем.

Я обнаглел до того, что пошел с Кирилой на 16-ю станцию Фонтана и захватил с собой несколько брусков самодельного мыла. Я надеялся обменять его на продукты.

Молодая рыбачка с пышным именем Кларисса – ей первой я предложил свой чудодейственный кил – долго, посмеиваясь, с ужасным укором смотрела на меня и говорила:

– Ой, не смешите меня! Ой, не дурите меня, молодой человек! Здравствуйте, пожалуйста, я ваша тетя. Так то же обыкновенный кил. Его тут – как морской воды. А вот дочка ваша правда красивенькая, как абрикос.

Я объяснил Клариссе, кто такая Кира.

– Пойдите тут! – приказала Кларисса, вытерла потные губы короткой рваной юбкой и ушла на огород. Она принесла оттуда в кошелке помидоры, баклажаны, морковь, перец и две большие кисти винограда.

– Ну, годи! – сказала она по-украински. – Давайте, так и быть, ваш кил и забирайте все это себе вместе с кошелкой.

Я начал ее благодарить.

– Здравствуйте, пожалуйста, я ваша тетя! – сказала она удивленно. – Что это вы? Сказались? Сегодня я уеду до своего батьки. Он рыбалит на Санжейской косе. А когда ворочусь недельки через две, вы приходите до меня, Непременно. Будем с вами знакомы. Я же знаю, вы живете около башни Ковалевского.

Она протянула мне шершавую маленькую руку. Мне почему-то захотелось подольше задержать эту руку в своей. Она, смеясь, вырвала руку и сказала:

– Не годится так со мной жартовать! А то я возьму да и поверю. Ступайте, только разок оглянитесь. Из вежливости.

Я ушел. Один раз я оглянулся, увидел смеющиеся глаза и зубы Клариссы и решил больше сюда не приходиться.

Прошло всего несколько дней, и жизнь как-то сама по се-



бе улеглась, устоялась. Я снова мог читать и начал рассказывать Кире на пляже все, что приходило мне в голову.

Нельзя сказать, что это были сказки. Нет, то были совершенно реальные и ни в какой мере не оторванные от действительности рассказы по любому случаю. Если нужны примеры, то беру первый попавшийся.

Кира находила в песке осколки бутылочного стекла, обкатанные морем. Она принимала их за драгоценные камни. Она никак не хотела поверить, что это простое стекло, которым на окраинах Одессы завалены все пустыри.

В какой-то мере она была права. Если бы стекла было на земле так же мало, как алмазов, и, наоборот, если бы алмазов было так же много, как стекла, то, конечно, стекло бы ценилось на вес золота.

Однажды Кира спросила меня, где люди выкапывают стекло, и мне пришлось рассказать ей, что стекло не выкапывают, а делают из песка. Я начал рассказывать ей об этом и через полчаса с ужасом поймал себя на том, что рассказываю совершенно не то.

Я рассказал ей, как внутрь стеклянного шара запаяли единственное семечко редчайшего черного тюльпана и привезли его на корабле в страну Голландию, и как из-за этого семечка началась кровавая война между цветоводами, и как она окончилась только потому, что двухлетний мальчик незаметно ушел от заболтавшейся няньки и сорвал выращенный из этого семечка черный тюльпан, в то время когда ча-

совой, охранявший цветок, спрятался за полосатую будку, чтобы закурить на ветру трубку. Через много лет голландские женщины поставили этому мальчику памятник за избавление от братоубийственной войны. Потому что как только мальчик уничтожил единственный цветок, причина для войны исчезла. На этом памятнике мальчик был изображен разрывающим на части в непонятном детском азарте царственный черный тюльпан.

Я не заметил той черты, где рассказ о стекле вдруг превратился в вымысел. Отрезвление у меня пришло после первого же делового замечания Киры.

– Тюльпан растет не из семян, а из луковицы, я знаю, – сказала она. – У нас дома был тюльпан. Если его сорвать, то через год вырастет другой. А они были дурные, голландцы, и не знали об этом. Зря затеяли эту войну.

Она помолчала, вздохнула и добавила: – А еще цветоводы!

Я покраснел. Никогда еще я так глупо не попадался со своими выдумками, даже в детстве. Кира смотрела на меня смеющимися, прищуренными глазами.

Действительно, война между цветоводами не могла начаться из-за семян тюльпана. В крайнем случае она могла вспыхнуть из-за луковицы.

С тех пор я твердо усвоил себе неписанный закон сказок и выдумок. Закон этот говорит, что в каждой, даже самой волшебной сказке должна заключаться реальная основа.

Через каждые два-три дня мы ходили с Кирой за пять километров на Сухой лиман. Я сажал Киру в ничтожной тени от сухих кустов акаций на берегу, сам же переходил на плоские прибрежные камни и удил оттуда бычков. Эта ловля не имела ничего общего с развлечением, – бычки были нашей единственной рыбной пищей.

В Сухом лимане они плавали тучами. Мне надо было наловить каждый раз не меньше сорока бычков, так у меня было заранее рассчитано.

Я ловил, а Кира, безропотно сидя в тени, пыталась считать пойманных бычков. Считать дальше десяти она не умела и потому после каждого десятка клала рядом с собой пустую ракушку. Когда набиралось четыре ракушки, она мне кричала об этом, а дальше счет вел уже я сам.

Кире, очевидно, нравилось это занятие. Но безропотно она сидела еще и потому, чтобы не выдвигаться из крошечной тени на все еще палящее августовское солнце.

Потом мы сообразили, что гораздо легче и приятнее ходить на лиман перед вечером. Особенно хорошо было возвращаться по бесконечным закатным пляжам, по самой кромке прибоя, где песок на минуту твердел после каждого наката волны. Хорошо было идти в бесконечную вечернюю мглу. Над ней в вышине горело розово-золотым лепестком одинокое облако.

У меня было немного муки. Я пек из нее пресные лепешки. Мука кончалась, и леденящий ужас уже закрадывался ко

мне в сердце.

Я пошел на 16-ю станцию к Клариссе, но она еще не вернулась от отца. Ее сосед, пожилой рыбак, только засмеялся в ответ, когда я спросил, нет ли у него продажной муки.

Я собирался уйти, но он остановил меня.

– А ну, постойте, – сказал он, взял меня за рукав рубашки и пощупал материю. – Что это на вас за рубашка? Не иначе английская?

На мне действительно была надета английская солдатская рубаха табачного цвета. Я ее выменял на базаре на пайковый чай.

– А что? – спросил я.

– Так вот, слушайте, – таинственно сказал рыбак. – Идите в степ по шляху на ляйн-Лебенталь. Там будет у самого шляха расти дикая груша, а за ней вправо – балочка. Вы сойдите в ту балочку и там увидите стежку. Идите той стежкой и достигнете до паровой мельницы, до млына. Вся та мельница не больше, як моя хата. Вам за эту рубаху отсыплют на той мельнице пять фунтов муки.

– Что-то много, – ответил я, сомневаясь.

– Там мельник особенный, – так же таинственно сказал рыбак. – Идите. Сами побачите. А вы, часом, не слышали ничего нового за политику? Живем сейчас, как кроты, – газету ухватишь раз в месяц.

В тот же день мы с Кирой пошли на мельницу.

Киру, конечно, не надо было бы брать с собой, но я побо-

ялся оставить ее одну. И потому мы пошли вместе.

Пыль завивалась над шляхом. Пришлось идти по шляху, по этой пыли, чтобы не пропустить дикую грушу на повороте в балку. Раскаленная глиняная пудра жгла ноги даже сквозь подметки.

Кира шла медленно, потом начала хромать. Я взял ее на руки. Она обхватила черными, как у маленькой цыганки, руками мою шею и тяжело дышала.

Я с тоской смотрел по сторонам. Нигде до самого горизонта не было ни единого клочка тени, если не считать короткой и узенькой тени от телеграфных столбов с порванными проводами. Мы несколько раз немного отдохали в этой тени. Вокруг пылало белое пламя засухи.

Кира ни разу не пожаловалась. Она молчала, положив подбородок ко мне на плечо, и устало смотрела на степь. Там шли, сгибаясь под ярмом, сивые волы. Языки их были высушены до самой земли. Они тяжело хрипели и часто останавливались. Возница с отчаянием и со слезой в голосе кричал им «цоб-цобе» и бил их по пыльным бокам корявой палкой. На потной воловьей коже палка оставляла следы, похожие на ассирийскую клинопись.

Под грушей отдыхали долго. Ее листья трещали на ветру, как жесткие надкрылья жуков.

По сухой известковой балке мы наконец дошли до мельницы, вошли во двор, обнесенный высокой стеной из «дикаря», и сразу же сели в тени этой стены и так просидели, мо-

жет быть, час, а может быть, и два в каком-то оцепенении.

Двор был пуст. Никто к нам не вышел. Над черепичной крышей мельницы дымила жестяная труба, и где-то осторожно шипел пар.

Потом во двор вышел удивительный мельник. То был старик, весь в муке, со старомодной чеховской бородкой и в пенсне. Стекла его были захватаны белыми от муки пальцами.

Старик подошел к нам, снял пенсне и долго разглядывал меня и Киру.

Потом, ничего не спросив, ушел и вынес нам кувшин холодной воды. Мы пили, закрыв глаза, чувствуя, как свежесть разливается до самых кончиков ногтей.

Старик дожидался, пока мы опростаем кувшин, равнодушно смотрел на нас и молчал.

– Вы мельник? – спросил я его, окончив пить.

– Нет, – ответил старик. – Я винодел.

– Почему вы ничего меня не спрашиваете? – сказал я и подумал, что передо мной, должно быть, душевнобольной человек.

– Потому что я знаю, чего вы хотите, – ответил старик, и в глубине его глаз вдруг засветилась медленная лукавая улыбка.

– Как же это сделать? – спросил я и показал на свою английскую рубашку. – Больше у меня ничего нет.

– А в чем же вы пойдете обратно? На солнце больше пя-

тидесяти градусов.

– Я посижу здесь до вечера. Дома у меня есть еще одна рубаха, но только рваная.

– Почему же вы ее не надели?

– Не знаю, – безразлично ответил я. – Я устал. Четыре дня не ел хлеба.

– А девочка?

– У девочки до вчерашнего вечера были сухари.

– Сидите здесь! – сказал старик и снова ушел.

Его долго не было. Зной, очевидно, достиг предела. Я судил об этом по глухому звону, стлавшемуся над степью. Как будто зудели миллионы жуков, попавших в мед.

Вместо старика вышла старая женщина – тоже вся в муке – и принесла нам шесть помидоров, соль в тряпочке и два куска свежего хлеба. Мы съели все это до последней крошки за несколько минут и уснули.

Я проснулся, когда тени от солнца, длинные, как изнуренные руки, лежали на сизой земле. Солнце гасло в пыли. Из балки потянуло слабой прохладой и даже как будто запахло водой.

Около меня стояла старая женщина.

– Вставайте, – сказала она. – И разбудите девочку. На закате спать вредно. Можете схватить лихорадку. Это вам от Казимира Петровича.

Она опустила на землю рядом со мной тяжелый мешочек муки.

Я вскочил.

– Спасибо! – сказал я, расстегнул свою рубаху и начал то-ропливо стаскивать ее через голову.

– Не надо, – сказала женщина. – Мы не обедняем. Потом отдадите. Что это вы? Бог с вами!

Я, сам не ожидая этого, обнял старую женщину и поцеловал ей руку. Я хотел поблагодарить старика, но женщина сказала, что он куда-то ушел. Куда он мог уйти в этой степи, плоской, как исполинское блюдо!

Кира долго молчала, никак не могла окончательно проснуться. На шляхе мы встретили мажару. Она везла па мельницу два мешка с пшеницей. Очевидно, из-за жары мельница работала ночью.

Потом Кира почувствовала под сожженными пятками нежащую остывающую пыль на шляхе и засмеялась.

– А воробьи, – сказала она, – купаются в пыли. Я сама видела. Я бы тоже выкупалась, но только вы не позволите.

Она, конечно, хитрила, и это было видно по ее прищуренным глазам.

Жаркие дни медленно сменялись, но ни Регинин, ни Торелли не приходили за мной и за девочкой. Я начал уже всерьез беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь с матерью Киры. Кира тоже заскучала и начала просить меня, чтобы я отвел ее домой, в Одессу. Я же всячески заминал разговор о возвращении и прикидывался беспечным и веселым.

Наконец я сдался и совсем уже выбрал время, чтобы воз-



вращаться в город, но случилось довольно глупое обстоятельство. Оно разрушило мои планы.

Дело в том, что, несмотря на кражу дров в Аркадии с Яшей Лифшицем, я вовсе не вор, никогда им не был и вряд ли им буду.

Но на 16-й станции мне пришлось еще раз своровать, на этот раз не дрова, а самые обыкновенные помидоры.

У меня не осталось ничего, что бы поменять на продукты. Про свою старую рубаху я старику мельнику соврал. Почему – сам не знаю. Слабую надежду на то, что Кларисса еще раз сжалится над девочкой и даст немного овощей, пришлось отбросить. Во-первых, Кларисса до сих пор не вернулась от своего батьки, а во-вторых, я понимал, что при возможных женских надеждах Клариссы на меня одалживаться у нее нельзя.

Воровать помидоры я пошел ночью и, понятно, ничего не сказал об этом Кире. И получилась чепуха. По своей близорукости я споткнулся в темноте, старый сторож по прозвищу Будка-Халабудка вскрикнул, выстрелил и всадил мне в спину пониже, лопаток заряд куяльницкой грязной соли.

Старый сторож был так удручен своим метким выстрелом, что решил загладить вину и подарил мне корзину отборных помидоров. Выходило, что я пострадал совершенно зря.

Соль, разлетаясь веером, задела меня очень слабо. Но все равно боль была адская. Битых два часа я примачивал ранки пресной водой из родника, закидывая себе за спину мокрую

тряпку. Я не перевязал ранки: не было ни кусочка бинта, – а только сидел два дня в тени без рубахи, пока ранки не затянулись. Кире я сказал, что сорвался с обрыва и исцарапал спину.

Через несколько дней после этого происшествия на 16-ю станцию пришли Торелли и Изя Лившиц.

Торелли пришел за Кирой. Жена Регинина уже поправилась и только капризничала и плакала от голода и оттого, что ей сбрили темные матовые косы. А Изя Лившиц пришел сообщить мне, что пора возвращаться в «Моряк».

Я вернулся в Одессу с тем же чувством тоски, с каким возвращался в гимназию после вольного и короткого лета. Я рвался обратно, на 16-ю станцию, на свое побережье, и если бы не было стыдно, то я наверняка бы втихомолку всплакнул.

Так окончилась эта маленькая история. Но, пожалуй, полный конец наступил позже, в 1947 году, на книжном базаре в Доме писателей в Москве.

Регинин подвел ФО мне высокую женщину, очень сдержанную и спокойную, и сказал.

– Вот! Пожалуйста! Это та самая Кира, из-за которой вам вlepили в зад добрый заряд соли.

Кира покраснела и протянула мне руку.

– Вы помните, как мы жили на Фонтанах? – спросил я.

– Да, – неуверенно ответила она. – То есть если говорить по правде, то помню едва-едва. А ваше лицо я совсем забыла.

Мне стало почему-то немного грустно, и я, чтобы не молчать, спросил:

– А что вы делаете теперь?

– Я окончила институт и состою в аспирантуре. Я замужем. Погодите, я познакомлю вас со своим мужем.

Она отошла от меня. Я подождал несколько минут, но она не возвращалась. Тогда я тихо ушел из Дома писателей и потом не мог самому себе объяснить, почему я исчез, стараясь быть незамеченным.

# «ПРОЩАЙ, МОЯ ОДЕССА, СЛАВНЫЙ КАРАНТИН»

Я стремился обратно на Фонтаны потому, что наступала уже осень. Вторая осень в моей одесской жизни.

Я был тогда уверен (да, пожалуй, и сейчас готов согласиться с этим), что из всех осенних времен, пережитых мною, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи и на дачах, на Фонтанах с их опустелыми садами, но и в самом городе.

Точное описание одесской осени я нашел в стихах (теперь я не помню, где читал их):

Осенний воздух тонок и опасен,  
Иной напев, иной порядок дней.  
И милый город осенью прекрасен  
И шум его нежней...

По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, еще погруженных в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкой, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны Большефонтанского маяка, пробежал крадучись через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вяну-

щей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли Французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбацких лачуг сушились дынные корки и дозревали помидоры.

Все это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю, – освежающий и чистый. Воздух был действительно тонок и опасен. Но не потому, что от этого воздуха легко было простудиться, а потому, что, вдохнув его, уже нельзя было избавиться от желания, чтобы такая осень стояла, не иссякая, над Одессой с ее мягким уличным говором и смехом.

В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутливости и любопытства.

Я назвал одесскую осень лучезарной. Я слышал это слово еще в юности («лучезарные вечера» Тютчева), но долго не знал его точного смысла.

Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает спокойный, бестрепетный, все озаряющий свет солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.

Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Тихий розовеющий свет наполнял улицы. Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе, но еще и оттого, что солнце шло все ниже над горизонтом, свет его постепенно терял силу и окрашивался уже

с самого утра в красноватые оттенки заката.

Но вскоре ясная осень сменилась туманами. Свет иссякал. Это печальное время совпало с неожиданным закрытием «Моряка».

У Союза моряков якобы не хватило денег на издание газеты. Деньги, конечно, можно было добыть – газета пользовалась необыкновенной популярностью. Секрет заключался в том, что официальный ее редактор, сивоусый и вечно кашляющий от нерешительности отставной морской капитан Походкин, боялся собственной газеты, как чумы, боялся всех нас, ее сотрудников, всячески старался избавиться от газеты и искал поводов для того, чтобы ее прикрыть.

Походкин не мог придумать ничего лучшего, чем устроить по случаю закрытия «Моряка» поминки по газете у себя на даче в Аркадии.

Мы пришли на этот небольшой банкет раздраженные, взвинченные, с подсознательной целью устроить скандал. Для этого нам была нужна любая, хотя бы пустяковая придира. И она, конечно, нашлась, и к тому же оказалась совсем не пустяковой.

Наше раздражение усилилось, как только мы вошли в дачу: во всех комнатах стоял слабый, но ядовитый керосиновый чад.

Оказалось, что капитан Походкин занимался разведением цыплят. Он с гордостью показал нам шеренгу инкубаторов, стоявших на теплой террасе. Керосиновые лампы под ними

потрескивали и чадили.

Мы все, влюбленные в море, в портовую жизнь, в корабли, в колдовство мореплавания, встретили известие об инкубаторах и цыплятах как тяжкое оскорбление морской профессии, оскорбление нашей мечты.

Вместо первого тоста Багрицкий прокричал яростную речь против «липовых» моряков, против обывателей, против людей, ушедших в тухлый мир инкубаторов от морской вольности, от шума ветра в вантах, похожего на шум пространства в створках раковин, от великолепной по своей неожиданности жизни.

Тогда вскочил Женька Иванов, опрокинул стул и закричал, брызгая слюной от возмущения:

– Товарищи! Эта росомаха в морском кителе (он гневно ткнул пальцем в сторону капитана Походкина), этот тещин тюфяк закрыл нашу замечательную газету! Ради чего? Ради того, чтобы спокойно высиживать на продажу рахитичных цыплят. Я считаю это не только безобразием! Это позор, требующий возмездия! Поэтому я призываю всех: бейте инкубаторы! Вдребезги! В дым! В пороховую пыль! Я один отвечу за все!

Нельзя объяснить только нашим опьянением то обстоятельство, что мы за несколько минут переломали и разбили почти все инкубаторы. Из керосиновых ламп столбами валила жирная копоть. Капитан Походкин бил себя в грудь, рвал с мясом золотые пуговицы на кителе и покаянно кричал:

– Правильно! Заслужил! Отрекаюсь!

Жена его, коротышка, вся в мелких рыжеватых кудряшках, хватала нас за руки, ломала нам в бессильной злобе пальцы и яростным шепотом говорила:

– Шпана! Всех засажу! Вы у меня сухими из воды не выйдете! Зарубите у себя на носу!

Неизвестно, чем бы окончилась эта нелепая история, если бы не вмешалось море. Дача капитана стояла вблизи береговых скал. На эти скалы накатывался в тот вечер шторм. И вот у одной из скал раздался раскатистый взрыв, дом дрогнул и затрясся, с веселым звоном вылетели все стекла, и капитан, подняв руки к небу, закричал:

– Тихо! Без паники! Мина взорвалась у скалы. Заслужил! Правильно! Эта квочка, – он затопал ногами на жену, – сделала из меня вермишель.

После взрыва мины мы тотчас разошлись. Мы почти бежали, стараясь поскорее отойти от ненавистного дома, зиявшего выбитыми стеклами и все еще распространявшего керосиновую вонь и копоть.

К зиме я остался на Черноморской совершенно один. Пока стояла сухая осень, в дворницкой было тепло, даже уютно, но в первые же сильные дожди она вся отсырела, как плохо отжатая губка. По ее стенам ползли темные мокрые разводы. Запахло сырой известкой и мелом, и откуда-то начали вылезать толпы хилых, едва двигавшихся пауков.

Надо было переселяться в сухое место. Но куда? Выру-



чила меня машинистка из «Моряка» Люсьена. После закрытия газеты она поступила в художественную артель, где шила из холстины дамские шляпы. Артель занималась чем угодно, лишь бы за это платили деньги: изготавливала шляпы, деревяшки, зажигалки, шила дамские лифчики, рисовала вывески для учреждений и плакаты на фанере для кино, делала таинственный порошок, вполне заменявший дрожжи.

Артель помещалась в первом этаже бывшего магазина готового платья «Альшванг и Компания». Второй этаж магазина, где в старые времена были закройная и примерочные, стоял пустой и холодней.

Люсьена надоумила меня поселиться во втором этаже явочным порядком. Артель против этого не возражала: если в магазине кто-нибудь ночевал, то было больше шансов, что артель не обворуют.

У Альшванга было сухо, но холод стоял такой же, как на улице. А зима в том году началась с упорных ледяных нордов. Город быстро заледенел, и каждое утро его посыпало твердой снежной крупой.

Я переехал к Альшвангу. Дворницкую я запер и ключ взял с собой – до весны, до первых теплых дней.

В примерочной я приспособил к вентиляции свою заслуженную «буржуйку». Спал я на широкой зеркальной двери, снятой с петель. Я клал ее на ящики со стружками. Старый тюфяк сползал со скользкого зеркала по несколько раз за ночь, и я падал вместе с ним на каменный пол.

После закрытия «Моряка» я начал работать в газете «Станок». От того времени у меня осталась память о темной, как подвал, промозглой редакции и о множестве мальчишек-курьеров, которым совершенно нечего было делать. Добрейший редактор газеты Курс (он изображал из себя непреклонного и беспощадного комиссара) набирал этих мальчишек без счета и давал всем им хлебные карточки.

Мальчишки за полным отсутствием работы все дни напролет играли в крестики и в «подкидного дурака». Но они хоть не голодали.

Да, зима была угрюмая. Порт замерз. За маяком стоял во льду болгарский пароход «Варна», доставивший в Одессу груз маслин. Маслины тоже замерзли.

Своих пароходов еще не было. С корабельного кладбища привели в судоремонтные мастерские два старых парохода и начали их восстанавливать. Один пароход назывался «Дмитрий», другой – «вестель».

Что это была за работа, можно судить по тому, что на «Дмитрии» надо было поставить три сотни заклепок, но за два месяца в Одессе не нашлось ни одной заклепки. По этому поводу в «Станке» было напечатано жирным шрифтом письмо в редакцию одного из рабочих судостроительных мастерских под укоризненным заголовком: «Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!».

У меня появилось ясное ощущение, что жизнь в Одессе

исчерпана. Такое чувство бывало у меня уже несколько раз в жизни и никогда не обманывало, – значит, надо было уезжать. Но никаких возможностей для этого не представлялось: ни денег, ни командировок.

Однажды в серый и унылый зимний денек в редакцию «Станка» ворвался мимо мальчишек, азартно игравших около чугунной печурки в «свои козыри», Изя Лившиц. Он крикнул, что «Моряк» возобновляется и что через неделю уже надо выпустить первый номер.

Оказалось, что старые моряки-подпольщики и большевики добились возобновления газеты.

Этому предшествовали некоторые удивительные обстоятельства.

Женька Иванов так затосковал без «Моряка», что слег, два месяца лежал без движения и даже отказывался разговаривать.

Марина билась изо всех сил, чтобы прокормить его и девочек. «Психопат! – говорила она о муже, но слезы гордости за него тотчас появлялись в ее черных глазах. – Поищите такого второго чудака во всем мире. Вы знаете, что он сказал? „Такие газеты, как наш „Моряк“, не умирают“.

Мы на радостях расцеловались с Изей. Разъяренный редактор Курс выскочил из своего кабинета в коридор. Мальчишки бросились врассыпную.

Курс кричал, что не отпустит меня, что это саботаж, вредительство, подвох и, наконец, контрреволюция. Мы с Изей

только хохотали в ответ. Курс махнул рукой и покорился.

Сколько раз я уже убеждался, что ничто хорошее не повторяется. Если и следует ждать хорошего, то каждый раз, конечно, не похожего на пережитое. Но человек так неудачно устроен, что все-таки ждет прекрасных повторений, ждет воскрешения своего собственного прошлого, которое, смягченное временем, кажется ему пленительным и необыкновенным.

Я вернулся в «Моряк». Но он уже был другим. что-то изменилось. Уловить это изменение я сразу не мог, но газета стала суше, а жизнь редакции – чуть скучнее.

Поэтому я был счастлив, когда Иванов предложил мне поехать корреспондентом от «Моряка» по всем портам Черного моря, от Одессы до Батуми. Дело в том, что семьдесят заклепок где-то разыскали, пароход «Димитрий» вышел наконец из ремонта, и его посылали на Кавказское побережье. То был первый рейс пока что единственного советского парохода от Одессы до Батуми, по местам, недавно очищенным от белых.

«Димитрий» вез мины, кое-какие продукты для Крыма и моряков, которые должны были налаживать работу в только что отбитых голодных и полуразрушенных портах.

Кроме того, «Димитрий» взял несколько пассажиров и около двухсот мешочников, ехавших в Крым за солью. В те времена это никого не удивляло.

«Димитрий» отваливал от Одессы в первых числах янва-

ря.

Напоследок Одесса показала мне удивительное зрелище, вряд ли возможное в другом городе. Я говорю о похоронах знаменитого «Сашки-музыканта», так великолепно описанного Куприным в его «Гамбринусе».

В Одессе я привык перечитывать в газетах все, вплоть до объявлений. Никогда нельзя было знать, где встретятся перлы одесского стиля.

Я помню, как ошеломило меня одно похоронное объявление и своим содержанием и своим умелым набором. Выглядело оно так:

**Рухнул дуб ХАИМ ВОЛЬФ СЕРЕБРЯНЫЙ**

**и осиротелые ветви низко  
склоняются в тяжелой тоске.**

**Вынос тела на 2-е еврейское  
кладбище тогда-то и там-то.**

Это было очень живописное объявление. Можно было

довольно ясно представить себе этот «могучий дуб», этого биндюжника или портового грузчика – Хаима Серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала, «жменей» маслин и полбутылкой водки. Но всех особенно умиляли эти «осиротелые ветви» – сыновья и дочери могучего Хаима.

И вот однажды в «Одесских известиях» было напечатано объявление о смерти Арона Моисеевича Гольдштейна. Кажется, покойного звали именно так. В точности не помню. Никто не обратил бы внимания, на это объявление, если бы внизу, под фамилией «Гольдштейн», не было напечатано в скобках: «Сашка-музыкант» из «Гамбринуса».

До тех пор я был убежден, что почти все литературные герои вымышлены. Жизнь и литература в моем представлении никогда не сливались неразрывно. Поэтому объявление о смерти Сашки-музыканта несколько смутило меня.

Я перечитал «Гамбринус». Все в этом рассказе было точно, как протокол, и вместе с тем рассказ был гуманен до слез и живописен, как летний вечер на Дерибасовской.

Что же придавало этому рассказу то свойство, какое я не знал, как назвать – подлинностью искусства или благородной чувствительностью? Очевидно, благородная чувствительность и человечность самого Куприна сообщали этому рассказу черты большого искусства.

Мне было трудно поверить, что Сашка-музыкант, с детства бывший для меня литературным героем, действительно

жил рядом, в мансарде старого одесского дома.

Мне посчастливилось. Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус» – похороны Сашки-музыканта. Эту концовку дописала вместо Куприна сама жизнь.

Сашку-музыканта провожала на кладбище вся рабочая, портовая и окраинная Одесса.

Худые лошади, часто останавливаясь от одышки и свистя бронхами, тащили черные дроги с гробом. Каждый раз толпа терпеливо ждала, когда лошади наконец отдышатся. Отдохнув, они сами, без понуканий со стороны рыжего возницы, влегли в постромки и, низко наклонив головы, тащили гроб дальше. Мутные слезы старости стояли в прекрасных глазах этих замученных лошадей.

Рядом со мной шел репортер «Моряка» старик Ловенгард. Он вспоминал, глядя на похоронных лошадей, как изредка Сашка-музыкант играл старинный цыганский романс «Пара гнедых, запряженных с зарею», а уличная певица Вера по прозвищу Марафет пела его так, что некоторые посетители «Гамбринуса» плакали навзрыд.

Рыжий возница курил махорку и виртуозно сплевывал на мостовую. Рваная кепка была надвинута у него на один глаз. Всем своим видом этот старик свидетельствовал, что жизнь уже не та, что была при Саше. «Какая жизнь, когда подковать этих несчастных коняг стоит чуть ли не миллион рублей! Раньше за миллион можно было купить все Ближние Мельницы со всеми их садочками, абрикосой, борщами и ко-

нями!».

За гробом шла большая толпа. Переваливаясь, брели старухи в теплых платках – те, что хорошо знали Сашу, когда были еще задорными красотками. Молодых женщин в толпе почти не было.

Женщины шли тотчас за гробом, впереди мужчин. По галантным правилам нищего одесского люда («То ж вам Одесса, а не какая-нибудь затрушенная Винница») женщин всегда пропускали вперед. За женщинами шли сизые от холода товарищи Сашки-музыканта.

Около входа в заколоченный «Гамбринус» процессия остановилась. Музыканты вытащили из-под подбитых ветром пальто инструменты, и неожиданная и грустная мелодия старомодного романса поплыла над притихшей толпой:

Не для меня придет весна,  
Не для меня Буг разольется...

Люди в толпе начали снимать шапки, сморкаться, кашлять и утирать слезы. Потом кто-то крикнул сзади сиплым и неестественно веселым голосом:

– А теперь давай Сашкину! Любимую!

Музыканты переглянулись, кивнули друг другу, бурно ударили смычками, и по улице понеслись игривые, скачущие звуки:

Прощай, моя Одесса,



Славный Карантин!  
Нас завтра угоняют  
На остров Сахалин!

Я смотрел на толпу. Это были все бывшие завсегда и «Гамбринуса»: матросы, рыбаки, контрабандисты, кочегары, рабочие, биндюжники и грузчики – крепкое, веселое забубенное одесское племя. Что с ними случилось теперь? «Жизнь нас сильно погнула», – покорно соглашались престарелые морские люди. «Да и то сказать жизнь никак не обдуришь. Жизнь надо выдюжить, скинуть с горба в трюм, как пятипудовый тюк. Вот и скинули, а счастья пока что маловато. Да и не дождешься его – не тот уже возраст. Вот и Саша лежит в гробу, белый, сухой, как та обезьянка! А счастье пойдет молодым. Им, как говорится, и штурвал в руки. Нехай живут вольно и по справедливости. Мы для прихода той вольной жизни тоже немало старались».

Ловенгард осторожно взял меня за локоть и сказал:

– Я первый привел Александра Ивановича Куприна в «Гамбринус». Он сидел, щурил монгольские глаза,пил водку и посмеивался. И вдруг через год вышел этот рассказ. Я плакал над ним, молодой человек. Это шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора.

Я не знал, что Ловенгард был знаком с Куприным, по тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о Ловенгарде.

Единственной страстью этого одинокого, опустившегося старика был Одесский порт. В газетах ему предлагали выгодную работу, но он всегда отказывался и оставлял за собой только Одесский порт.

С утра до заката, в любое время года и в любую погоду он медленно обходил все гавани, подымался на пароходы и опрашивал моряков обо всех подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С одинаковой изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и портовыми босяками. Разговаривая, он снимал перед всеми старую шляпу.

В порту его прозвали «Летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди грубого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка-музыкант для моряков.

# ОДИННАДЦАТЬ БАЛЛОВ

«Димитрий» погрузил в трюм корпуса плавучих мин для Севастополя, взял на палубу двести мешочников, ехавших в Крым за солью, и отошел из Одессы.

Провожал меня только Изя Лившиц.

Стоял холодноватый и тихий зимний день. На молах на месте вчерашних луж хрустели тонкие, как слюда, ледяные корки. Перепархивал редкий снег. Казалось, можно было пересчитать все снежинки.

Чайки, взлетая, били красными, озябшими лапками по воде, будто для того, чтобы согреть их.

«Димитрий» стоял у мола, сильно накренившись. Вблизи он оказался меньше, чем представлялся сверху, с бульвара. Изю всех щелей «Димитрия» сочился и зловеще шипел пар. От парохода тянуло запахом бани и прачечной.

Палуба была завалена мешками. На них сидели и лежали мешочники – замотанные по глаза платками женщины и мужчины в пахнувших дегтем сапогах.

Меня устроили в четырехместной каюте. В ней разместились восемь человек. Четверо лежали на койках, трое – на полу, а один человек – речник с Волги – сидел в раковине умывальника, так как все равно воды в умывальнике не было.

Там он и спал. На ночь мы привязывали волгаря полотен-

цем к вешалке, ввинченной в стену, чтобы он не свалился на спящих.

Но волгарь не роптал. Он чувствовал себя среди моряков стеснительно и старался оставаться в тени.

Все остальные обитатели каюты, кроме меня и волгаря, были военные моряки. С двумя – самыми молодыми – я спал на полу.

Лежавший рядом со мной бывший мичман, капитан Санжейского плавучего маяка, в первый же вечер нашего плаванья сказал в пространство:

– Чистосердечно советую гражданским товарищам в случае каких-либо происшествий не отставать от нас, моряков.

Я промолчал, а волгарь расхрабрился и спросил:

– Вы думаете, будет опасный рейс?

– По всем данным, – с явным удовольствием ответил мичман, – «Димитрий» идет, как говорят французы, прямо в открытый гроб.

Мичмана резко одернул комиссар Николаевского порта.

Но никаких признаков опасности пока что не было. Мы отвалили в легком, морозящем тумане. Амфитеатр города, купол Оперного театра, дворец Воронцова, потом Фонтаны и знакомая башня Ковалевского – все это, покачиваясь, медленно уходило во мглу и вскоре совсем исчезло. Тихо шумели, подгоняя Друг друга, бесконечные волны.

В камбузе нашелся кипяток, и мы, сидя на полу, со вкусом напились чаю с сахаринном.

Вечером волны начали шуметь сильнее, но мирный запах пара и каменноугольного дыма и мерное качание парохода успокоило всех.

Я крепко уснул. Сколько времени прошло, я не знаю, но когда я проснулся, то мутно и далеко, будто за километр от меня, горела над умывальником лампочка, волгарь раскачивался и держался за края раковины, меня било плечом о дверь каюты, и все вокруг трещало на разные голоса. Было слышно, как «Димитрий» с тяжелым вздохом проваливался в воду и с трудом из нее вылезал.

– Ишь, штормяга! – неодобрительно сказал кто-то из моряков. – За час развел волну до семи баллов.

Но моряки были спокойны, и это подбадривало и нас, обыкновенных смертных.

В каюте было тесно и душно. Каюта внезапно толкалась, стараясь свалить нас всех в одну кучу, потом начинала дергать нас из стороны в сторону, вытирая нами, как швабрами, пол.

Молодой мичман приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Там уже вповалку густо лежали мешочки, сбежавшие с палубы. Среди них стоял, упершись дрожащими ладонями в стены узкого коридора, старый еврей в длинном лапсердаке.

– Чего вы стоите? – сказал мичман. – Укачаетесь. Надо лечь.

– Разве вы не видите, пане, – ответил еврей, – что мне негде лечь?

Куда ехал это г местечковый старик, непонятно. Во всяком случае, он выглядел совершенно дико на морском скрипучем пароходе во время качки и ночного шторма.

Мичман вышел в коридор, растолкал спящих мешочников и очистил место для старика.

– Библейский персонаж из всемирного потопа! – сказал мичман, возвратившись в каюту.

Я лежал у стены и слушал, как валы, сотрясая пароход, ударяли в тонкий железный борт. Мне становилось не по себе. Странно было сознавать, что в четырех миллиметрах от твоего разгоряченного лица несутся во мраке горы ледяной осатанелой воды. И в каком мраке!

Я посмотрел на иллюминатор. Непроницаемая, как бы подземная тьма простиралась там, в первобытном хаосе непонятно огромных водных пространств.

Никто не спал. Все прислушивались. «Димитрий» резко потрескивал. Нельзя было понять, почему до сих пор не раскрошились в щепки трухлявые стены кают, полы и потолки, тогда как качка корежила, гнула и расшатывала все винты, болты, скрепы и заклепки.

Каждый раз, когда раздавался сильный треск, я взглядывал на моряков. Они были спокойны, но часто курили. Я тоже много курил, убеждая себя в том, что запас плавучести у нашего престарелого «Димитрия» гораздо больший, чем я, гражданский невежественный товарищ, предполагаю.

Все мы ждали утра. Но оно скрывалось еще страшно да-

леко в плотном, охватившем полмира, завывающем мраке.

Качка усиливалась. Пароход уже стремительно и сильно клало то на один, то на другой борт. Винт все чаще высккивал из воды на воздух. Тогда «Димитрий» яростно трясся и гудел от напряжения.

– А не может нас выбросить таким штормом на берег? – неожиданно спросил волгарь, стараясь удержаться на умывальнике.

Моряки пренебрежительно промолчали. Только минут через десять суровый и вместе с тем добродушный комиссар Николаевского порта ответил:

– Шторм уже загибает до десяти баллов. Конечно, все может быть. Но не надейтесь на берег. Чем дальше от него, тем спокойнее.

– Почему? – спросил волгарь.

– Потому что у берега пароход непременно подымет волной и разобьет о дно. Или о скалы. И никто не спасется.

А я-то, поглядывая каждые десять минут на часы в ожидании рассвета, мечтал, что мы сможем подойти к берегам северного Крыма и высадиться на них – на эту скудную щебенчатую и спасительную землю.

Среди ночи молодой мичман встал, натянул сапоги, надел кожаный плащ с капюшоном и небрежно сказал:

– Пойти посмотреть, что там у них делается наверху, Он ушел, но скоро вернулся, весь мокрый, от капюшона до пят.

Никто его ни о чем не расспрашивал, но все напряженно

ждали, когда он заговорит сам.

– Речь – серебро, а молчание – золото, – насмешливо промолвил мичман. – Ну, так слушайте. Волна валит через палубу. Смыло две шлюпки из четырех. Погнуло планшир. Дошло до одиннадцати баллов. Но это пока еще пустяки.

– Хороши пустяки! – пробормотал комиссар Николаевского порта и сел на койке. – Рассказывайте! Что еще?

– Волнами повредило форпик, и у нас открылась некоторая течь...

– Донки работают? – тихо спросил комиссар.

– Работают. Пока справляются. Но машина сдает.

– Двигаемся?

– В том-то и дело, товарищ комиссар, что не выгребаем.

– Сносит?

– Так точно!

– К берегам Румынии?

– Так точно!

Комиссар встал и схватился за верхнюю койку.

– Так там же... – начал он и осекся. – Пойду-ка я к капитану и выясню.

Он ушел. Мы долго молчали.

– Весь анекдот в том, – сказал один из моряков, – что у этих самых берегов Румынии немцы во время войны разбросали огромные, просто роскошные букеты мин. Они там стоят до сих пор. Если нас тянет на эти мины...

Он не досказал, что тогда будет с нами, но и без него мы



прекрасно это знали.

Комиссар возвратился и, не снимая кожаного пальто, сел на койку и закурил.

Снаружи с пушечным гулом била и шипела волна и пронзительно, все время набирая высоту, свистели снасти. От этого свиста леденела кровь.

– Дали SOS, – вдруг сказал комиссар и помолчал. – Бесполезно! В наших портах судов нет. А из Босфора в такой шторм носа не высунет, даже «Сюперб». Дошло до одиннадцати баллов. Так-то, приятели!

Все угрюмо молчали. Было слышно, как в коридоре плескалась вода. Ее налило с палубы через комингсы – высокие железные пороги.

Так прошел день, пришла в гуле урагана окаянная вторая ночь. Но шторм не стихал, и казалось, не стихнет до последнего дня этого мира.

На третий день наступило какое-то всеобщее оцепенение. Всех, даже старых моряков, очевидно, замотало.

На четвертую ночь я сидел с закрытыми глазами, упершись ладонями в пол, и считал размахи парохода. Иногда они делались слабее, и тогда я торопливо закуривал. Но это обманчивое затишье длилось недолго, сердце снова срывалось, замирая, и каюта взлетала и косо падала в невидимую пропасть.

А потом страшно медленно, останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли ей обратно, за потным иллюмина-

тором начала наливать сизая и скверная заря. Свист снастей дошел до осатанелого визга.

Дул норд-ост, «бич божий», как говорили моряки. От них я узнал, что норд-ост дует или три дня, или семь, или, наконец, одиннадцать дней.

В коридоре зашевелились и заговорили хриплыми голосами мешочники, заплакали измученные женщины. Какая-то старуха все время исступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву: «Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!» При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугалась, обрывала молитву и только быстро говорила: «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас!».

Я решил впервые выйти на палубу. Моряки говорили, что в каюте гораздо тяжелее, чем снаружи.

Комиссар Николаевского порта пошел вместе со мной.

– Вам одному нельзя, – сказал он. – Без меня вас просто не пустят на палубу. И, опять же, вас может смыть.

По косточку в воде, в тошнотворном запахе блевотины мы добрались среди лежавших прямо в воде и стонавших мешочников до узкого трапа. Он выходил на верхнюю рубку, а оттуда – на палубу.

Комиссар сильно нажал плечом на дверь рубки. Она распахнулась. Струей воздуха нас вышвырнуло наружу.

Я схватился за обледенелый канат и увидел то, что предчувствовал в темной каюте, – зрелище исполинского, необы-

валога шторма. Оно наполнило меня обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты.

Я стоял перед штормом лицом к лицу – жалкая, теряющая последнее тепло человеческая пылинка, – а он гремел, нес стремительные, железного цвета валы, рушил их в темные бездны, швырял в набухшее небо извержения брызг и холодного пара, накатывался тысячетонными холмами, рвал воздух и лепил с размаху в лицо липкой пеной.

Корма «Димитрия» то взлетала к облакам, то уходила в воду. Длинные и крутые волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах величественную и мучительную картину движения свинцовых водных громад – той ураганной области, через которую мы должны были прорваться, чтобы остаться в живых.

– Смотрите! – крикнул комиссар и показал на море. Я ничего не понял и взглянул на него с недоумением.

– Смотрите, какие испарения! – снова прокричал он.

И тогда я увидел, как между гудящих валов вырываются из серо-зеленой воды, как пороховой дым из дула, тысячи орудий, быстрые и злые струи пара.

Позже, в каюте, комиссар объяснил мне, что эти столбы пара всегда бьют из воды во время вторжения ледяных штормов в теплые морские пространства.

Потом я увидел впереди исполинскую стену разъяренного моря, катившуюся на нас с космическим гулом во весь раз-

ворот горизонта. Комиссар схватил меня за руку и втащил в рубку. Дверь захлопнулась намертво сама по себе.

– Держитесь! – прокричал комиссар.

В рубке стало темно. «Димитрий» треснул, понесся вверх по срезу водяной горы, потом остановился и ушел, дрожа, в воду по самый капитанский мостик. «Конец! – подумал я. – Лишь бы не закричать от страха».

Пароход глухо взвыл, повалился набок, и я увидел сквозь иллюминатор, как вода широкими водопадами сливается с палубы обратно в море.

– Что это было? – бессмысленно спросил я комиссара.

– Еще две-три таких волны, и прощай! – ответил он громко и посмотрел на меня отсутствующими, белыми глазами.

Но ни вторая ни третья такая волна не пришли. Море все так же ревело как бесноватое, но размахи «Димитрия» стали как будто меньше и спокойнее.

Мы отдышались и вернулись в каюту. Ветер уже не визжал, как недавно, а ровно гудел в снастях и трубе парохода. В неистовстве бури произошел неожиданный перелом.

В каюту заглянул боцман с обваренным от норд-оста лицом и сказал, что машина опять выгребает и мы, правда, медленно, но все же пошли против шторма.

Моряки повеселели. Они даже начали вытаскивать из своих кошелок и чемоданов кое-какие скудные продукты.

Я с наслаждением жевал кусок ячневового хлеба, когда вдруг с палубы сквозь шум бури, отплеываясь и задыхаясь,

завыл пароходный гудок.

Моряки побледнели и вскочили. Вокруг на сотни миль бушевало только одно штормовое море. Что мог означать этот гудок?

Торопливо застегивая шинели, моряки бросились наверх, на палубу. Я тоже поднялся вслед за ними. Я приготовился увидеть воочию гибель «Димитрия», весь тот медленный ужас, что воплощен в одном коротком слове «кораблекрушение».

Но ничего страшного на палубе не случилось. Все так же остервенело ходило горами море. По юту бежали матросы в штормовых плащах, волоча канат.

– Почему гудим? – крикнул им комиссар.

– Земля открылась! – ответил один из матросов. – Тарханкут!

Комиссар выругался от неожиданности и пошел на мостик к капитану. Я вскарабкался вслед за ним по крутому скользкому трапу.

С капитаном я познакомился еще в Одессе. То был совершенно седой, необыкновенно худой и необыкновенно спокойный старик.

– Извините, – сказал он нам, – за беспокойство с гудком. Мой помощник стоял на вахте вместе со мной, увидел берег и на радостях дал гудок. Переполошил всех. Ему это, пожалуй, простительно: он первый раз попал в такую штормягу.

– А вам, – спросил я, – часто приходилось бывать в таких

передрягах?

– Где? – спросил капитан и отогнул угол брезентового капюшона на плаще, чтобы лучше слышать, – На Черном море?

– Да, здесь.

– Раз двадцать, – ответил капитан и застенчиво улыбнулся.

Его серые старческие глаза сильно слезились от ветра. Рука, лежавшая на планшете, дрожала.

– До войны, – сказал он, – в штормовую погоду не в пример было спокойнее плавать. А теперь море наспиговано минами. Шторм их посрывает с якорей и носит как попало. Вот и жди, когда он подкинет тебе мину под днище.

– А я берега что-то никак не найду, – смущенно пробормотал комиссар, опуская бинокль. – Одна бешеная вода.

– Да сейчас вряд ли и увидите, – согласился капитан. – Он еще далеко. Вы смотрите на небо. Вон замечаете над самым горизонтом темную полоску на облаках? Там земля. Это своего рода отражение земли на пасмурном небе.

На мостик поднялся старший механик – человек с красным, как перец, гневным лицом.

– Аристарх Петрович, – сказал он умоляющим голосом капитану, – идите к себе в каюту и отдохните, Ветер падает. Машина пока что тянет нормально. В вашем возрасте не сходить третьи сутки с мостика и не спать – это, знаете, похоже на самоубийство. Команда хочет радио послать в управление пароходством и Марии Никитичне. С жалобой на вас.

– Ну, это положим. – Капитан усмехнулся. – Без моего разрешения радист не передаст. А я, пожалуй, правда пойду прилягу. Часа через три войдем в бухту Караджи. Вот она. – Он показал нам на карте полукруглую маленькую бухту к северу от мыса Тарханкут. – Там будем отстаиваться, переждать шторм. Так что до Караджи я, пожалуй, посплю. Извините меня, товарищи. – Он подошел к трапу, но обернулся и спросил комиссара: – Это ваш матросский отряд у нас на пароходе? Шесть человек.

– Нет, не мой, – ответил, насторожившись, комиссар. – Они из Одессы. А что?

– Головорезы! Едут нахрапом, документов не показывают. У одного серебряный браслет на ноге. Следовало бы проверить.

– Проверю обязательно, – успокоил его комиссар.

– Жоржики! – добавил старший механик, – Сачки! Переодетая шпана. Оружием обвешаны до пупа. Только, спасибо, штормом их здорово стукнуло по башке, а то бы они галдели наперебой и резались в кости.

Механик ушел. Мы с комиссаром еще несколько минут постояли на мостике рядом со старшим помощником, заступившим вместо капитана на вахту.

Мы смотрели на бледно-свинцовое небо на востоке, на темную полосу на нем, похожую на струю неподвижного черного дыма. Если это было отражение земли, то до нее было еще далеко.

Хотелось еще побыть на мостике, но правила морской вежливости не позволяли нам этого, и мы спустились в каюту.

Внизу, в коридорах и каютах, стоял возбужденный шум. Все уже знали, что открылся берег и что нас меньше качает именно потому, что отдаленная и благословенная земля уже прикрывает нас своим крылом от ледяного норд-оста.

Среди ночи раздался длинный, убегаящий грохот якорной цепи. Грохот этот повторился два раза. Это «Димитрий» становился на якоря в бухте Караджи около Тарханкута.

Мыс Тарханкут с давних пор пользовался дурной славой среди моряков. Море у Тарханкута никогда не бывало спокойным, очевидно, от столкновения в этом месте разных морских течений. Вода у мыса бурлила, и судорожная, хотя и недолгая, качка выматывала пассажиров и раздражала моряков.

Кроме того, у Тарханкута берега были предательские – низкие, опоясанные мелями и почти не видные с палубы, особенно в пасмурную погоду. Во время парусного флота здесь случались частые кораблекрушения, и это место получило зловещее прозвище «кладбища кораблей».

Мы стали на якоря. Нас уже качало спокойно и мягко а по временам качка и совсем затихала. Тогда все вздыхали полной грудью.

Я вышел на палубу. Ветер сек по лицу снежной крупой. Вокруг лежала чугунная тьма. В этой тьме на много миль к



северу и югу гремел где-то рядом, не захлестывая в бухту, прибой. Потом вдруг медленной молнией загорелся огонь на Тарханкутском маяке, обвел седым лучом бурлящее море и погас до новой вспышки.

Я вернулся в каюту. Весь пароход уже спал непробудно и тяжело. Только молодой мичман открыл глаза, пробормотал, пытаюсь и сейчас острить наперекор всему: «Мертвый сон на мертвых якорях», но тут же, кажется, упал головой на свой тощий чемодан и уснул. Я пишу «кажется» потому, что этого не видел: на последнем слове мичмана я как бы впал в бесконечную летаргию.

Утром мы увидели совсем близко от лязгавшего якорными цепями «Димитрия» красноватый берег. Очень возможно, что не было на всей земле более скудного места, чем эта спасительная для нас бухта Караджи.

Нагая солончаковая степь в редких пучках почернелой травы поблескивала полосками снега. Он слежался в углублениях и бороздах.

Даль, ровная, как натянутый шнур, уходила в глинистую муть. Над мутью косо неслись, сбрасывая заряды снежной крупы, низкие тучи. Ни человека, ни птицы, ни развалин лагуги, ни колодца, даже ни одного камня, похожего хотя бы на могильный, не было видно на этой коричнево-черной земле.

Людей обвиняют в неблагодарности, и большей частью не зря. Но тогда, после жестокого шторма, у меня появилось искреннее чувство благодарности к этой бухте и к ее убогой

земле.

По библейским понятиям, она была проклята богом отныне и до века. Но она закрыла нас своим иссохшим и бесплодным телом от беспощадной стихии. Волны, обезумев от ярости, били совсем рядом в берега с такой силой, что они сотрясались.

Комиссар Николаевского порта одолжил мне морской бинокль. Прячась за каким-то теплым железным кожухом, я долго рассматривал берега, надеясь увидеть людей. Но ни людей, ни других признаков жизни нигде не было видно.

Невозможно было поверить, что это действительно крымская земля, Таврида, что в каких-нибудь ста километрах отсюда благоухающее солнце греет листву буковых лесов.

В бухте Караджи мы простояли четыре дня. Шторм упорствовал, не стихал, и каждый раз при виде оловянного моря, ревущего без всякой надобности и смысла, начинала саднить на сердце тоска.

«Димитрий» за эти четыре дня стал похож на бранд-вахту – общежитие для всякого портового люда и отставных моряков, где они ютятся со своими замызганными и бранчливыми семьями.

Такие брандвахты существовали почти во всех больших портах. Под них отводили устаревшие, изношенные пароходы. Их ставили на причал в самом отдаленном уголке порта, чтобы они не портили своим видом современный пейзаж.

Брандвахты мигом обрастали принадлежностями сухопутного, главным образом кухонного быта – жестяными трубами от печурок, веревками для просушки белья и самим бельем – разноцветным, почему-то главным образом фиолетовым и мутно-розовым, – цинковыми погнутыми корытами, решетчатыми ящиками, где почмокивали кролики с глазами, как из красной смородины, престарелыми котами, что мылись на салингах с видом отставных адмиралов, щенками, лаявшими на чаек, что подбирали вокруг брандвахты отбросы.

За четыре дня стоянки «Димитрий» сразу же оброс стиранным бельем. Стирали его без мыла, забортной водой. Поэтому оно было покрыто желто-серыми пятнами и разводами. Отовсюду уже тянуло густым запахом жилья.

Во время шторма мешочники безучастно смотрели, как бесценное их добро летело в море. Иные мешочники даже помогали матросам.

Но сейчас, когда страх смерти прошел, мешочники начали роптать и обвинять капитана в самоуправстве. К тому же нечего было есть.

Капитан, пользуясь правилом «об аварии на море», приказал открыть трюм, где мы везли для Крыма немного ячневой крупы. Крупу роздали пассажирам. Варить ее было нельзя: камбуз из-за шторма не работал. Кроме того, уже не хватало пресной воды.

Крупа была густо перемешана с мышинным пометом. Пас-

сажиры занимались тем, что перебирали эту крупу, а потом съедали ее сухой, как едят семечки.

Воду на «Димитрии» берегли. На каждого в сутки выдавали только по литру этой пахнувшей железом, мутноватой воды со дна цистерны.

Еще гимназистом я читал о традиционных бунтах на парусных кораблях, о пистолетном дыме и капитанах, выброшенных в море мятежной командой. Но никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде, я не мог вообразить, что буду свидетелем такого бунта в двадцатом веке, на нашем мирном Черном море, у берегов благословенного Крыма.

Начали бунт шесть «жоржиков» – матросов в широченных брюках-клевш. К ним присоединилась часть мешочников.

– Почему стоим четвертые сутки? – кричали матросы.

Им объясняли, что шторм еще не стих, что между Тарханкутом и Севастополем тянутся оставшиеся после войны обширные минные поля и по ним идти в такой шторм – безумие.

Матросы и мешочники послали к капитану делегатов, но капитан, выслушав их, сказал, что пароход все равно будет отстаиваться сколько нужно и незачем пассажирам соваться не в свое дело.

– А с голоду подышать – наше дело? – зашумели матросы. – Другие капитаны напролом по минам идут, ничего не

бояться! А нам что ж, давать дуба из-за этого тюти капитана! Пусть подымает пары и снимает. А то разговор у нас с ним будет короткий. За борт – и амба! Даем полчаса на размышление. За свою шкуру дрожит, старый хрыч, на нас ему начихать! Сами поведем пароход! Подумаешь, большое дело!

Мешочники, бегая злыми глазами, поддакивали матросам, хотя и побаивались, поглядывая на море. Оно все еще несло в небольшом отдалении от нас вереницей стремительных пенных валов.

На третий день стоянки в Караджи к нам в каюту постучал боцман «Димитрия». Он вполголоса сказал, что матросы и часть мешочников собрались около каюты капитана, шумят, ломятся в дверь каюты и грозятся выбросить старика капитана в море.

Комиссар Николаевского порта встал, натянул шинель, взял маузер, приказал нам без нужды до его выстрела не подыматься на палубу и вышел вместе с боцманом. По лицу у комиссара ходили железные желваки: он был взбешен.

Мы ждали выстрела, но его все не было. Вскоре до нашей каюты дошли дикие слухи. По словам матросов с «Димитрия», комиссар якобы сразу же стал на сторону «жоржиков». Он вошел в каюту капитана, и было слышно, как он кричал на старика. Потом вышел, сказал «жоржикам», что капитан – старая рухлядь и контра, но от того, что его выбросят в море, толку все равно не будет. Надо выбрать из своей среды человека, который мог бы заменить капитана. Дело это се-

рзное, потому что придется отвечать потом перед правительством. Поэтому его следует тщательно обсудить без вмешательства гражданских пассажиров и без продажных душ – мешочников.

– Пошли в трюм! – сказал комиссар. – Обсудим и выберем капитана. Айда, братишки!

Как только братишки с комиссаром спустились в трюм, матросы с «Димитрия» по приказу капитана с непостижимой быстротой закрыли трюм толстыми деревянными досками, завинтили их болтами, а сверху еще навалили разный груз с палубы. Очевидно, дело это было рискованное, потому что матросы с «Димитрия» хотя и посмеивались, но руки у них тряслись.

В трюме гремели заглушенные проклятия, потом раздались выстрелы. Матросы стреляли вверх. Это было совершенно бессмысленно: выйти из трюма они не могли.

Наша каюта тотчас сообразила, что комиссар сговорился с капитаном и нарочно увел матросов в трюм. «Как Сусанин!» – радостно сказал молодой мичман. Все были взволнованы тем, что в трюме нет продуктов и воды, и радовались, что комиссар себя не выдал. Иначе ему был бы верный конец.

– Эй, подальше от трюма! Полундра! – на всякий случай покрикивал боцман.

К вечеру шторм начал стихать. «Димитрий» снялся с якорей и, медленно работая машиной, вышел из бухты. Его тотчас начало качать, но эта качка по сравнению с недавней,

штормовой, казалась просто колыбельным баюканьем.

Утром я проснулся оттого, что в иллюминатор свободно лилось солнце. Стекло иллюминатора заросло солью. Но даже через ее серую пленку сияла густейшая синева. Качки не было, «Димитрий» только тихо вздрагивал от вращения винта.

Я выскочил на палубу и зажмурился. Слезы потекли у меня из глаз. Прошло несколько минут, пока я снова начал различать все окружающее.

«Димитрий» шел в густой и глубокой синеве. Трудно было уловить ту черту, где синева моря переходила в синеву неба. Крутым откосом, отлитым из золота, сверкал с левого борта мыс Лукулл.

Со снастей срывались оттаявшие сосульки и разбивались о палубу, превращаясь в зернистый снег.

За кормой стояла чернильная стена уходящего тумана.

И в тишине бухт, в сиянии зимнего бережливого солнца, в ясности и приморской живописной прелести открылся Севастополь, как некий русский величественный Акрополь.

# АКРОПОЛЬ ТАВРИЧЕСКИЙ

При входе в Северную бухту к «Димитрию» подошел катер с вооруженными матросами. Они поднялись на палубу, открыли трюм и крикнули вниз:

– С легким паром, сачки! Вылезай по одному! Живо! Начальник выходит последним!

Грязные «сачки» вылезли на палубу. Их обыскали, отобрали оружие, арестовали и увели. А комиссару Николаевского порта вежливо сказали:

– За вами приедет сам комендант порта.

Но комендант, конечно, не приехал, и комиссар только посмеивался в прокуренные усы.

«Димитрий» отшвартовался у пассажирской пристани в Южной бухте. Пассажирам объявили, что дальше «Димитрий» не пойдет. Течь на «Димитрии» усилилась, швы в обшивке разошлись, машина была почти сорвана с фундамента, и потому пароход уведут прямо на корабельное кладбище.

Мне было жаль «Димитрия», особенно когда к нему подошел буксир и «Димитрий», давая прощальные гудки, поплелся вслед за буксиром на свалку.

Все-таки этот благородный и дряхлый корабль сделал последнее напряжение, прорвался через ледяной шторм и спас всех нас.



Я вышел на берег. Попутчики мои незаметно исчезли. Я остался один.

Куда было идти? И я пошел, конечно, на Графскую пристань, чтобы посмотреть на Севастополь, погруженный в желтоватую древнюю дымку, и решить, что делать дальше. Знакомых у меня в Севастополе не было, если не считать девушки-поэтессы. Но я забыл ее адрес и даже имя.

Я сидел на скамье, греясь на слабом солнце, и дремал от тишины и успокоения, наступившего после недавнего бурного плавания.

Сидел я, должно быть, долго, пока желтоватая дымка не начала приобретать багровый оттенок и с моря, где заунывно мычал звуковой буй на Константиновском рифе, не дохнуло холодным ветром.

Я решил идти в единственное для меня, сотрудника «Моряка», убежище – в Севастопольский союз моряков.

Секретарь союза – пожилой моряк с грустными украинскими глазами – выслушал меня и потом долго смотрел на меня, не говоря ни слова. Я решил, что он забыл обо мне, и осторожно кашлянул.

– Я об вас сейчас все время и думаю, – сказал секретарь. – Значит, хлеба нет? Ничего нет? И вдобавок нет крыши над головой? Получается хреново!

Он опять надолго замолчал, потом тяжело вздохнул, потянул к себе блокнот из бурой оберточной бумаги и что-то начал долго писать, тщательно проверяя написанное и рас-

ставляя знаки препинания. После старика Благова это был второй в моей жизни ревнитель препинаний.

– Вот, – сказал он, – с этой бумажкой пойдете на Садовую улицу, в бывший дом адмирала Коланса. Дадите эту бумажку вдове-адмиральше. Только вы ее не пугайтесь, вы же красный беззаветный моряк. Живет она во флигеле со своими недобитками, а в главном доме на улицу мы устроили вроде как детский сад. Для моряцких детей. Подтапливаем изредка и кое-как подкармливаем. По сути дела, никакого сада нет. Так вот, там можете ночевать, но только с пяти часов дня до восьми утра, пока нету детей. Только, смотрите, ночью не замерзните. А то получится неприятность.

Он протянул мне вторую бумажку – распоряжение в морскую пекарню выдать мне буханку хлеба.

– Ешьте по крошкам, – посоветовал секретарь. – Это вам в виде исключения. Вы надолго в Севастополь?

– Не знаю. Нас высадили с «Димитрия». Придется сидеть здесь и дожидаться, когда из Одессы придет второй пароход.

– «Пестель»? – спросил секретарь.

– Да, «Пестель».

– А если не придет? – неожиданно спросил секретарь.

– Как так не придет?

– А очень просто! Такая же дырявая коробка, как и ваш «Димитрий»! Чтобы прийти, нужно дойти. Вот задача!

Это была непреложная истина, и я не мог с ней не согласиться.

– «Пестель», – сказал я уныло, – должен был выйти из Одессы через неделю после нас. Секретарь вздохнул.

– Ну, в общем, – заметил он неуверенно, – если хлеба не хватит... может быть, дадим еще малость. Подумаем.

Я поблагодарил его и пошел в пекарню. Было три часа дня, и до пяти мне все равно некуда было податься.

Пекарня помещалась на третьем дворе, в закоулке. У входа в третий двор стоял вооруженный человек. Он посмотрел мою записку и пропустил меня.

Пекарь вынес мне буханку хлеба, но, не давая в руки, спросил:

– Во что вы ее завернете? И в чем понесете? У меня не было ни газеты, ни кошелки.

– Э-э-э! – укоризненно протянул пекарь. – У вас его уже в подворотне отнимут. Как же я вам выдам хлеб? Нету никакого смысла мне его вам выдавать.

– Неужели так уж и вырвут? – спросил я. Пекарь рассердился.

– Вы что, с луны свалились! Вырвут и раздерут по клочкам. Они у ворот дежурят целые сутки. Юрка! – позвал он.

Из задней комнаты вышел мальчик лет десяти. Он был так худ, что казалось, от него остались одни глаза.

– Юрка, – приказал мальчику пекарь, – выведи этого чудака с хлебом на Мичманский бульвар фарватером «Ижица». Только чтобы все было в акурате. Хлеб, товарищ, спрячьте под пальто. И не вздумайте есть его на улице. Ни-ни! Увидят

– тогда вас уже ничто не спасет. Они... – сказал он значительно и повторил: – Они беспощадно следят за каждым.

– Кто это «они»? – спросил я.

– Ей-богу, товарищ, неначе вы свалились с Марса. Как – кто? Голодные, конечно.

Мальчик провел меня через пекарню в узкий проход между высоких стен. В одной стене была пробита калитка. Мальчик открыл ее громадным медным ключом, и по внешней чугунной лесенке, заставленной вазонами с высохшими фуксиями, мы поднялись на второй этаж старого дома.

Мальчик ловко открыл гвоздем резную дубовую дверь с изображением мечей и знамен, и мы вошли в чью-то квартиру.

– Идите тихо, не пугайтесь, – сказал мальчик, – Только ни с кем не разговаривайте. Можете только поздороваться, если хотите.

Он толкнул первую дверь. Мы вошли в гостиную с роялем, портретами важных адмиралов с длинными баками и пустым аквариумом. В него доверху была навалена черная картофельная шелуха. Она уже дурно пахла. На софе лежала маленькая и желтая, как птичка, пожилая женщина.

– Болтаются тут целый день, – сказала женщина, – и еще вежливость разводят! Здравуются! Никто вас не просил здороваться!

Я смущенно проскочил за Юркой в следующую комнату, должно быть бывшую столовую.

Из-за китайской шелковой ширмы высунулась сонная, всклокоченная голова красивого молодого человека. Он посмотрел на Юрку и погрозил ему кулаком.

– Видал миндал?

– Вы не очень показывайте! – сказал, задираясь, Юрка. – Ходил и буду ходить. Вы что ж думали, мы вам задарма хлеб выдаем? За какие такие ваши заслуги перед революцией? Паразиты!

Голова тут же скрылась. Потом мы прошли через заросшую паутиной кухню. Там сидела молодая миловидная женщина без единой кровинки в лице. Подняв платье, она неподвижно смотрела на свои опухшие колени, растирала их ладонями и плакала.

Из кухни мы вышли в сухой сад, перелезли через невысокую ограду и очутились в конце пустынного Мичманского бульвара. Юрка попрощался со мной и пошел обратно.

– Вот это и есть фарватер «Ижица», – сказал он напоследок. – Самый надежный. Для женщин и безоружных. Ну, счастливо вам донести. Только, упаси бог, на улице хлеб не отщипывайте. И не ешьте.

До пяти часов я просидел на поломанной скамейке на Мичманском бульваре. Могильная тишина звенела над Севастополем.

Только один раз беспорядочно прогремела где-то рядом по булыжнику ручная тележка. Я увидел ее в просвете между высохшими ветками туи.

Тележку тащили две молодые женщины. На тележке лежал лицом вниз босой человек, голый до пояса. Я не сразу догадался, что он мертвый.

Я пошел на Садовую улицу.

Я шел по окостенелому городу. Изредка из глубины дворов тянуло слабым трупным запахом. Сухой плющ тихо скрежетал на выветренных подпорных стенках. Не верилось, что на эти червивые каменные стенки падал хоть когда-нибудь теплый свет солнца.

Время сразу же отодвинуло меня на два-три года назад. В облике умирающего и скудного Севастополя я узнавал и Киев и Одессу времен сыпняка и голода.

Пока я шел, задул жесткий, режущий ветер, очевидно норд. Тотчас вдоль всех улиц закрипели на крышах покоробленные листы железа. Ветер искоса нес снег, совсем не похожий на наш русский. Он был серый и тотчас смешивался на мостовых с ворохами сухой акациевой листвы, размолотой в крошку. Грифельного цвета небо волочилось в сторону открытого моря, унося с собой, казалось, последний свет, тепло и последние ласковые человеческие голоса.

Я шел мимо зияющих выломанных оконниц в подвалах, боясь заглянуть внутрь. Туда, очевидно, сволакивали мертвых.

Но Садовая улица, расположенная в верхней части города, показалась мне даже в свинцовом свете иссякшего дня уютной и тихой, какими часто бывают заросшие отдаленные

тупики.

Я нашел одноэтажный дом вице-адмирала Коланса. На воротах были изображены железные якоря, а во дворе стоял флагшток. Он был деревянный, но его почему-то, не спилили на дрова и не сожгли.

В глубине двора виднелся флигель, густо обросший диким виноградом.

Я постучал. Низкий женский голос спросил меня из-за двери, кого мне нужно. Я ответил. Тогда дверь распахнулась, и я увидел на пороге высокую, как гренадер, старуху с копной белых волос на голове и с несколько согнутой кочергой в руках. Она опиралась на кочергу. Глаза ее метали огонь.

– Да! – сказала она вызывающе, – Вот именно! Я вдова вице-адмирала Цезаря Платоновича Коланс. Но среди его знакомых я, кажется, не видела вас, молодой человек. Зрительная память у меня феноменальная. Поэтому говорите, что вам нужно, но коротко, ясно и грамотно.

Вместо ответа я протянул ей записку от секретаря Союза моряков. Она взяла ее двумя пальцами, встряхнула в воздухе, как бы вытряхивая из нее мусор, и сказала, обернувшись:

– Мария, прочти!

В темную переднюю вышла с тоненькой церковной свечкой в руке худющая, бледная, как бы неземная девица с синими кругами около глаз. Она была похожа на сомнамбулу или лунатичку. Ни разу не взглянув на меня, она прочла записку, обернулась и, в свою очередь, позвала:

– Андрэ, иди сюда и проводи этого господина в детский сад! Он будет там ночевать.

– У вас есть хлеб? – вдруг спросила меня адмиральша.

– Мало.

– Это не важно! – Адмиральша сильно стукнула кочергой по полу. – Я предлагаю вам честный обмен. Вы дадите нам немного хлеба, а я каждый день буду давать вам козье молоко. Я держу козу! – Она второй раз стукнула кочергой по полу и повернулась к молодому человеку по имени Андре. Он вошел в переднюю и скромно стоял в темноте. – Что из этого? В таких обстоятельствах – запомни, Андре! – сама покойная императрица держала бы козу и доила бы ее собственноручно. Собственноручно! – прокричала адмиральша и в третий раз стукнула кочергой по полу. – Вы согласны?

– С чем? – спросил я. – С тем, что императрица...

– Да нет же! – резко оборвала меня адмиральша. – Императрица была феноменальная дура и наркоманка! Гессенская муха! из-за нее и произошла эта революция. Я спрашиваю: вы согласны на обмен?

– Согласен, – ответил я торопливо.

– Фунт хлеба, и все! – Адмиральша в последний раз ударила кочергой по полу и приказала Андре: – Возьми ключ и впусти этого человека в главный дом.

Она обернулась ко мне и добавила:

– Но чтобы без глупостей! Не курить махорку, не заворачиваться на ночь в ковер во избежание вшей (девица Мария



ахнула и всплеснула руками) и не пить одеколон и всякую мерзость! Пока что бог дает мне силы, и я справлюсь с каждым, будь он хотя бы сам архикомиссар. Сам Сатана или сам Вельзевул. Прощайте.

Она повернулась и пошла в глубину темной передней, ступая кочергой. Девушка подняла свечу повыше, осветила меня, вскрикнула, уронила свечу на пол. Свеча погасла, а девушка бросилась вслед за адмиральшей и закричала:

– Мама! Боже мой! Да это же, кажется, он! Боже мой! Мама!

– Пойдемте! – сказал мне Андре. – Терпеть не могу истеричек! Извините, я не представился: бывший мичман, а ныне козопас у своей мамыши Андрей Цезаревич Коланс, бывший минный офицер с бывшего военного транспорта под бывшим названием «Ратмир».

В детском саду не было ничего, на чем бы можно было сидеть или лежать. Стояли только маленькие креслица и столики. Сидеть приходилось на подоконниках или просто на полу. Спал я тоже на полу, заворачиваясь, несмотря на запрещение адмиральши, в лысый, пыльный ковер.

Я сворачивал ковер длинной трубой, обвязывал обрывком телеграфного провода, чтобы ночью он сам по себе не развязался, и заползал в эту шерстяную трубу головой вперед. А утром я выползал из ковра точно так же, головой вперед, но только в другую сторону. За ночь я проползал ковер насквозь.

Эта шерстяная труба стала для меня надежным и даже уютным убежищем во время тогдашней севастопольской жизни. Шатаюсь без цели по промерзшему до седины городу, я ждал только вечера, той минуты, когда наконец залезу в ковер, немного согреюсь, и мне начнут сниться очень связанные и почти одинаковые сны. Должно быть, такие сны снились мне из-за духоты.

А снились мне преимущественно маленькие города среди скал, садов, около шумных речек или на морских берегах, где буковые леса подходят к самым пляжам.

Все эти города были населены любимыми людьми или знакомыми. Я несколько раз встречался там с Лелей и дедом Нечипором, со своим отцом и художником Врубелем, гардемаринном с учебного корабля «Азимут» и латинистом Субочем, с поэтом Волошиным и санитаром Анощенко, «маленьким рыцарем» Гронским и профессором Гиляровым, с наборщиком из типографии Сытина и Иваном Буниным, с Люсвенной и Амалией Кностер. С каждым из этих людей возникали во сне крепкие связи и необыкновенные, щемящие сердце отношения. Часто я, впадая в отчаяние, искал в этих снах знакомых людей. Я знал, что они в это же время ищут меня и что наша встреча могла бы быть ознаменована какими-то чудесными, ликующими событиями, но встречи этой никогда не будет.

После таких снов я начинал понимать, что моя жизнь непомерно длинна, тогда как до тех пор она представлялась

мне быстролетной и не оставляющей заметного следа. Просыпаясь и перебирая в памяти эти сны, я повторял про себя стихи Фета:

Жизнь пронеслась без явного следа.  
Душа рвалась – кто скажет мне куда?  
С какой заране избранною целью?

Все в этих стихах сейчас уже было неверным и неправильным для меня, но я повторял их с наслаждением. Должно быть, потому, что они составляли резкую противоположность всему, что происходило около.

Они не умирали, все эти слова, все эти напевы, начиная от Жуковского и Пушкина. Они жили среди голода, болезней, перестрелок, среди энтузиазма, казней, самопожертвования, гнева, невообразимой нищеты и непоколебимой веры в будущее и утверждали для меня простую истину, что сердце народа не повреждено и народ этот не может быть уничтожен ни физически, ни морально. Я уже понимал, что будущее прекрасно, и верил в него. Я уже понимал, что горести этих лет лишь умножают величие народного подвига того времени – времени больших ожиданий.

Но приходилось прекращать все эти замыслы, воспоминания стихов и удивительные сны и вылезать из ковра в изморозь серых стен и ледяного дня. Как только я вылезал из ковра, тотчас начинала зябнуть изболеть голова.

Я шел к адмиральше, выпивал стоя чашку теплого козьего

молока и уходил.

Иногда мы выходили из дома вместе с мичманом и грязной козой Мартой. Она была серого жирного цвета, каким бывает залежавшийся стеарин или прогорклое свиное сало.

Мичман тащил козу на веревке на Исторический бульвар. Там коза объедала сухую траву на месте героических бастионов времен Севастопольской обороны.

Во время этих выходов мичман сообщил мне, что его сестра Мария – «маньякальная дура», что у нее религиозное помешательство и она через день заказывает в соборе панихиду по адмиралу Колчаку. Почти всех невысоких мужчин она считает переодетыми Колчаками, спасшимися от расстрела. Меня она тоже приняла за скрывающегося Колчака, о чем и кричала матери в вечер нашего знакомства.

Целые дни я проводил на Историческом бульваре, беседуя с мичманом. Деваться все равно было некуда. Мы долго грызли по небольшому куску черствого хлеба. Он был покрыт коркой известки. Мне казалось тогда, что весь Севастополь покрывала эта белая известковая кора. Она отваливалась от домов и трещала под ногами.

Потом я шел в столовую Союза моряков, где мне давали тарелку затирухи. В столовой я ухитрился писать и передал в «Моряк» по портовому радио несколько корреспонденции о Севастополе. Одна из корреспонденции была посвящена героической борьбе «Димитрия» и его команды с ледяным

штормом <sup>11</sup>, а вторая – случаю, на наш теперешний взгляд, незначительному, но просто ошеломившему меня в ту сева-стопольскую зиму.

Невдалеке от Артиллерийской бухты начали строить шко-лу. Это строительство казалось мне тогда просто фантасти-ческим.

Покрытые морозной пылью, шатающиеся от слабости лю-ди копали фундамент, били кирками неподатливую камени-стую землю, тяжело, со свистом дышали и часто присаживались передохнуть на глыбы желтого инкерманского кам-ня, вытирая рукавами красные, слезящиеся от непрерывно-го морского ветра глаза.

Каждый удар киркой давался людям с великим трудом. Но, несмотря на это, фундамент с каждым днем углублялся, а потом в траншею легли первые тяжелые плиты известняка.

В то время это по существу обыкновенное явление пока-

---

<sup>11</sup> Сохранился номер газеты «Моряк» от 31 января 1922 года, в котором эта корреспонденция была напечатана под названием «Мытарства „Димитрия“»: *Бухта Караджы. 22.1. (Радио нашего специального корреспондента). По пути в Севастополь в ночь на 21 января «Димитрий» был застигнут штормом. К утру шторм достиг полной силы. Волна по своей силе и высоте была равна океанской. Димитрий», котлы которого повреждены и работают только на полови-ну пара, едва держался против волны и ветра. Ход упал до 3 четвертей мили в час. Винт наполовину работал в воздухе. Момент был крайне опасный. Если бы вторая машина не выдержала, пароход был бы унесен в море, что при полном шторме грозило ему гибелью. К вечеру 21 «Димитрий», благодаря выдержке и опытности капитана и команды, вошел в бухту Караджы, к северу от Тархан-кутского маяка, где и стал отстаиваться. Шторм не прекращается. Запас во-ды и провизии есть. Заболеваний среди пассажиров нет. Паустовский*

залось мне чудом. И оно действительно было чудом мужества. В нем как бы материализовалась великая надежда людей на будущее.

Из столовой я шел или на берег Южной бухты, где гремела непрерывная ружейная пальба по бакланам, или на базар. Там шел обмен хлеба на золото и лекарства. Но ни золота, ни лекарства ни у кого не было.

Один раз я пошел в Херсонес, но не дошел до него. Такая отпетая печаль была заключена в аспидных, как дым, степных далях, так жестко, как маленькие трещотки, хрустела под ветром трава и так заунывно стонало море, накатывая на берега траурную пену, что сердце у меня сжалось от одиночества и я вернулся в Севастополь.

Проходила уже вторая неделя моего сидения в Севастополе. В Союз моряков пришло радио, что «Пестель» на днях выходит из Одессы, но его все не было. Может быть, он вообще не вышел из Одессы, а может быть, просто погиб. Никто ничего толком не знал.

Я продолжал бродить по городу, заходя время от времени в знаменитую Панораму, где не было ни души. Огромное полотно художника Рубо сотрясало от ледяных сквозняков.

Я искал по городу теплых мест и зашел как-то в собор. Там холод просверливал насквозь худые подошвы сапог, от дыхания клубился густой пар, но около алтаря горело пять-шесть тоненьких свечей, и привычное представление о тепле, возникавшее от огня, чуть согревало меня. Но все равно

озноб бил меня все дни напролет.

Наконец из Одессы пришло радио, что «Пестель» вышел в Батум и будет в Севастополе через сутки. Тогда я перебрался на пристань. Нас было несколько человек, дожидавшихся «Пестеля». Нам разрешили ночевать на пристани, в каморке, заклеенной пожелтевшими расписаниями пароходных рейсов.

Я с радостью переселился хоть на несколько часов в эту каморку. В ней стояла в углу еще теплая чугунная печка.

Это тепло показалось всем нам истинным чудом, таким неслыханным счастьем, что одна пожилая женщина, сидя около печки, даже расплакалась.

«Пестель» пришел утром. Из совершенно мертвого моря вдруг возникли далекие и красивые очертания старинного парохода с острым носом и бушпритом. Он весь еще был окутан туманом, лежащей на горизонте загадочной желтоватой мглой и медленно приближался к Севастополю. Город тоже лежал в красноватой дымке, позолотевшей от солнца.

Свежий морской день, созданный из легкого холода и легкой синевы, был прекрасным. Но еще более прекрасным, любимым и незаслуженно покидаемым показался мне Севастополь, когда над его бухтами, онемевшими от безветрия, раздался требовательный гудок «Пестеля». Он как бы разбил на сотни осколков застоявшуюся тишину. И осколки эти, звеня, полетели вдоль туманно-синих прибрежий, чтобы упасть с последним жалобным звоном у мыса Айя, Ласпи, у Фор-

са, Меганомы и Карадага – у всех мысов и накатанных пляжей еще не пробужденной от полусмерти, изголодавшейся, но всегда волшебной Тавриды.

В день отъезда Севастополь снова предстал передо мной величественным, простым, полным сознания своей доблести и красоты, предстал русским Акрополем – одним из лучших городов на нашей земле <sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Заканчивая эти заметки, хочу привести еще один малоизвестный путевой очерк отца – «Севастополь». Он впервые был напечатан в 163-м номере «Моряка» 23 февраля 1922 года. Под заголовком была проставлена запись: от нашего специального корреспондента. *СЕВАСТОПОЛЬ На шестой день после отхода из Одессы «Димитрий», стоявший в дуином тумане в двадцати шести милях от Севастополя, получил радио о том, что в Севастополе ясно и тихо. Пароход снялся с якоря и, медленно работая машиной, окунулся в морозный, ослепительно-белый от солнца туман. И вдруг случилась одна из странных морских причуд – туман отрезало словно бритвой, и он остался позади черной кольшищейся стеной. Впереди было солнце, тишина и необычайно прозрачные дали, в которых резкими гранями вычерчивались медные слитки Крымских гор. Тысячи чаек подняли вокруг бортов снеговой танец, и в дымах, в жарком солнце, в причудливости малахитовых бухт встал из тихо шумящих волн Севастополь, город солнечной тишины, херсонского желтого камня, якорей, ядер, старинных бронзовых мортир, позеленевших памятников, окруженный синим кольцом высокого моря, оваянный памятью обороны, памятью лейтенанта Шмидта, восстаний и вспьшек во флоте. В Севастополе поражает тишина. И только потом, дня через два, начинаешь понимать причину этого безмолвия севастопольских улиц. Это – голод. В городе нет лошадей, и только изредка, три-четыре раза в день, пролетается по Нахимовскому проспекту тощая кляча. Город сжат мертвым кольцом. Бахчисарай, Байдары, Ялта, Евпатория вымирают. Одесса еще не знает сотен бродящих по улицам, качающихся от истощения людей, жадно следящих за тем, что вы несете. Если хлеб, хотя бы четверть фунта, – вокруг вас собирается плачущая, умоляющая толпа, вас хватают за руки, рвут по кусочкам хлеб, подбирают крошки. И севастопольцы особенно тщательно заворачивают*



---

вают хлеб и прячут его под пальто. Грабежи все учащаются: за прошлый месяц было их свыше 1000. В бухте с рассвета до позднего вечера погромыхивает лихорадочная ружейная стрельба: бьют бакланов, мясо которых нестерпимо пахнет рыбой. Его вымачивают в уксусе и едят. На Нахимовском окна магазина «Комитета помощи голодающим» завалены восточными сладостями, фруктами, копченой рыбой и бутылками с крымским вином. На этикетках бутылок марка: «вино комиссии помощи голодающим». А в порт втягиваются ежедневно тяжелые иностранные суда с мукой, рисом, сахаром. Разгружаются, цвета на солнце флагами, у пристаней внешторга, против серых бездымных броненосцев. Но приход иностранных судов не уменьшает толпы голодных – внешторговская мука вылеживается в амбарах. Порт оживлен. К Графской пристани пристают, бурля зеленоватый малахит бухты, моторные катера, вползают на рейд мимо брандвахты итальянцы, греки, турки, и в глубине гавани, в дыму и солнце, висят подъемные краны. Стоит на якоре серая стройная «Жанна», привезшая в Россию генерала Слащева. И только на Историческом бульваре, безлюдном, бесконечно пустынном, когда по вечерам Корабельная сторона зажигает огни и светлые бухты засыпают в чуть видной закатной дымке, дымке ранней крымской весны, – на минуту забываешь об умирающем, истощенном, тяжело молчащем городе, скованном мертвым кольцом.

# В ГЛУБИНЕ НОЧИ

Из Севастополя «Пестель» отвалил сырым и теплым утром.

Серая прозрачная вода лизала обшарпанные борта парохода, стараясь замыть на них окаменелые потеки соли.

Но это было бесполезно: «Пестель» мало уступал «Димитрию» по своей заржавленности и тесноте.

Я прошел на корму. Скрежетали от натуги железные шкворни, вращающие руль. Каждый поворот руля вызывал широкий, льющийся шум пены за кормой, и бушприт начинал, как говорят моряки, «катиться» то в одну, то в Другую сторону.

Пепельный свет падал на город сквозь облака. В этом мягком освещении чувствовалось близкое присутствие солнца. Иногда мне даже казалось, что мое лицо теплеет от невидимых солнечных лучей.

Всем существом я ощущал в этот январский день ласковость юга, мягкость его воздуха, его приятную сырость.

Севастополь! Я был в нем в детстве, потом во время первой мировой войны и вот сейчас, в пору голода и опустошения. Каждый раз он являлся передо мной совершенно новым, непохожим на прежний.

Я загадывал, каким увижу Севастополь еще через недолгое время. В том, что увижу, я был уверен. И действительно,

я потом приезжал в него много раз, жил в нем и полюбил его, как свою вторую родину. С ним было связано много воспоминаний, много горя и радости.

Если бы не Севастополь, то вряд ли так остро и, пожалуй, безошибочно я видел бы выдуманные, но безусловно существующие в пределах вселенной гриновские города, такие, как шумный Зурбаган и зарастающий травами Лисе.

Меня поражало то обстоятельство, что даже легкое прикосновение человеческой руки к благословенной севастопольской земле создавало привлекательные вещи: причудливые переулки, каменные лестницы, тонущие в глициниях, уютные повороты дорог, стремительную игру солнечных вспышек в стеклах домов, балконы, где греются маленькие зеленые ящерицы, полумрак и полусвет кофеен, их вывески, похожие на детские картинки, намазанные густой акварелью.

Севастополь никогда не был для меня городом вполне реальным и будничным.

Иногда мне казалось, что он скучнеет, сереет и теряет живописные приметы. Но тут же размах морского горизонта за окнами или запах копченой султанки возвращали меня к действительности – к Севастополю, разбросанному, как пожелтевшая от древности мраморная россыпь на берегах индиговых бухт, к шуму его флагов, к магниевым искрам маслянистой волны, запаху роз и помидоров, к пришедшему издалека навестить Севастополь ветру Эгейского моря с его свитой розовых высоких облаков.

Я долго смотрел с кормы вслед Севастополю. Потом «Пестель» медленно обогнул башню Херсонесского маяка, и впереди по левому борту открылась стена сиреневых Крымских гор.

Перед отъездом из Севастополя я сутки не спал из-за холода и волнения. Поэтому глаза у меня сейчас слипались. Я нашел себе спокойное, темное место в салоне, под трапом, лег на полу и мгновенно уснул.

Проспал я долго. Когда я проснулся, под трапом было уже темно. В салоне слепо светила электрическая лампочка и пахло кислой капустой.

Судорога свела мне живот. Нестерпимо захотелось есть, и я, ужасаясь предстоящей полной своей нищеты, заказал на последние деньги тарелку тушеной кислой капусты. Я съел ее с черствой коркой от моей единственной севастопольской буханки хлеба.

Проснувшись, я решил, что уже наступила ночь, но оказалось, что еще только садится солнце. Как бы залитый темной кровью, отвесный обрыв Крымских гор медленно и грозно двигался за окнами салона. На палубе задувал с востока неприятный ветер. Глухие воды цвета тины бежали навстречу «Пестелю». Рыжие от сухого дубняка обрывы Яйлы кое-где еле тлели последним огнем.

Далеко впереди помаргивал красным глазом огонь Ялтинского портового маяка. И ни единого огня больше не было на всем протяжении берега. Весь Крым был брошен, пуст,

выметен зимними ветрами. Он окоченел от стужи.

Я долго всматривался в берега, отыскивая хотя бы жалкий, тлеющий свет, хотя бы язычок свечи, как свидетельство, что кто-то еще жив в этой пустынной стране. Но, кроме мрака, быстро гасившего один за другим зубцы гор, ничего вокруг я не видел.

В Ялту «Пестель» пришел в девять часов вечера. Город был тих и черен. С окраин долетали одиночные винтовочные выстрелы.

На молу было пусто. Лужи рябили от ветра, валялись разбитые бочки от кислой капусты, и бродили, закинув винтовки за плечо, озябшие часовые в обмотках.

Пассажирам объявили, что «Пестель» простоит в Ялте до утра, так как ночью идти из-за мин опасно. Желаящие могут спуститься на мол, чтобы размять ноги, но в город выходить рискованно. Нет света, и к тому же на первом перекрестке могут остановить и раздеть, а то и убить бандиты.

– А не бандиты, – заметил часовой, стоявший у трапа, – так беляки подстрелят. Бежать не успели, ховаются теперь по горам, по гнездам. Их паяльником надо выжигать из тех гнезд.

Капитан приказал отвести пароход от причала и стать на якорь в нескольких метрах от берега, чтобы никто не мог незамеченным проникнуть на пароход.

Я успел спуститься по шаткому трапу на мол и пошел к воротам в город. Около ворот я остановился. На них висел,

моргая, керосиновый фонарь «летучая мышь». Под фонарем сидел на ящике старик в приплюснутой морской фуражке и держал между колен винтовку.

За воротами лежала тьма. Изредка из нее доносился шелест сухих листьев.

Я сделал несколько шагов в эту темноту и остановился. Сторож равнодушно взглянул на меня и отвернулся. Ему было все равно, убьют ли меня или нет. Ему только хотелось, чтобы я его ни о чем не спрашивал и не помешал ему думать о своих домашних делах. Убитых он видел много, больше чем достаточно, и они уже не вызывали у него даже простого любопытства.

Я оглянулся. Можно было еще вернуться на пароход, но непонятное возбуждение охватило меня. Я стоял как будто на краю пропасти.

Я посмотрел на тусклые лампочки на палубе «Пестеля» и вдруг понял, что не могу противиться зову темноты, что она тянет меня, что мне уже страшнее возвращаться через плотную полосу темноты на бледно освещенный мол, чем раствориться в этой темноте и даже погибнуть в ней.

Я понимал, что испытываю свою судьбу, что делаю глупость, что идти ночью в город безрассудно. Но тьма уже безраздельно владела мной. Сердце билось веско, медленно, и я убеждал себя в том, что не могу вернуться на пароход, пока не узнаю, что кроется в этом настороженном мраке.

Часто бывает, что человек не может вспомнить какое-ни-

будь название или фамилию и, пока не вспомнит, становится как одержимый, как помешанный. Он думает только о разгадке своей тайны, глохнет, немеет и ничего не видит вокруг. Примерно такое же состояние было со мной. Ночь хранила какую-то тайну, и я не мог жить, пока ее не узнаю.

Тьма втягивала меня, как тянет к себе французских колониальных солдат Сахара. Мне рассказывал об этом Бабель. Солдаты уходят в пустыню, дезертируют и никогда не возвращаются обратно.

Я не испытывал страха. Наоборот, желание, чтобы сейчас случилось нечто внезапное и решило мою судьбу, охватило меня. Эта ночь казалась мне пределом моей жизни, за ней должна была быть гибель или ослепительный свет.

Сейчас я думаю, что это мое состояние в Ялте было вызвано сева­стопольским голоданием. Но тогда я жил внутри этого состояния и не мог оценить его со стороны.

Холодно и спокойно я решил, как надо себя вести в этой темноте. Прежде всего – двигаться совершенно бесшумно, красться, вжимаясь в стены, чтобы не выдать себя даже малейшим вздохом. Темнота скрывала меня, и только две вещи грозили мне гибелью – предательский шум, будь то шарканье подметок, дыхание, кашель, свист в бронхах, треск сухого листа под ногой, или, наконец, прямое столкновение с человеком в темноте.

Но, пройдя до моста через пересохшую речку Учан-Су, я понял, что меня спасают от опасности не все эти предосто-

рожности, а безошибочное ощущение близости притаившегося, как я, человека. Каждый из этих невидимых людей был врагом. каким-то неназванным, но существующим во мне шестым или двенадцатым чувством – не знаю – я определял, что в нескольких шагах от меня стоит и прислушивается человек. Я ощущал так же, как и этот человек, теплую от руки сталь затвора, хотя у меня в руках ничего не было.

И еще одно преимущество – и притом огромное – было в том, что враги, скрытые от меня кромешной ночью, не знали, что главный закон сохранения жизни в такую ночь – это полная бесшумность. Поэтому они часто выдавали себя, и я их вовремя обходил.

И наконец я убедился, что человек издает гораздо больше шумов, чем мы думаем. Даже поворот головы, а в особенности всего туловища бывает иногда ясно слышен.

Существовала еще одна опасность. Это спички. Электрических фонариков в то время не было, но спичка могла вспыхнуть в любую минуту и выдать меня врагам на внезапную смерть.

Куда я шел? Я не знал этого, пока не зашел в тупик.

Я шел долго, иногда сходил на мостовую, если тротуар мне казался почему-то опасным. Изредка возникал ветер, шумел в кипарисах, и тогда я шел смелее.

Я избегал обочин. На них были колодцы для стока дождевой воды.

Когда я зашел в тупик – я не помню. Должно быть, уже



была самая поздняя пора ночи. Я уперся в каменную стену. Направо к ней примыкала такая же каменная стена. Я поднял руку и ощупал ее, но нигде не мог дотянуться до верха. Она была достаточно высокой, и перелезть через нее было невозможно.

Налево тоже тянулась стена. Она прерывалась воротами. Рядом с воротами в стене была прорезана узкая калитка, а около нее я нащупал вывеску.

Третья стена – та, где были калитка и вывеска, – оказалась низкой, на уровне моих плеч. За ней чувствовался внизу густой сад, хотя он и не шумел.

Я вынул спички и зажег сразу три, чтобы вспышка огня была ярче обыкновенной. Я решил прочесть вывеску.

Желтый огонь осветил ее, и я успел прочесть только три слова: «Дом Антона Павловича...».

Ветер задул спичку. Тотчас где-то выше по Аутскому шоссе хлопнул выстрел. Пуля низко пропела над оградой и с легким треском сбила ветку на дереве.

Вторая пуля пропела выше и ушла во мрак, где лежало онемевшее море.

Я вжался в нишу калитки. Я сразу все забыл: свое странное состояние, похожее на душевную болезнь, весь напряженный, как по канату, путь через зловещий город сюда, к дому Чехова.

Я был в этом доме еще мальчиком в 1906 году, на второй год после смерти Чехова, шестнадцать лет назад.

Я не понимал, да и сейчас не понимаю, почему я пришел на Аутку, именно к этому дому. Я не понимал этого, но мне уже, конечно, казалось, что я шел к нему сознательно, что я искал его, что у меня было какое-то важное дело на душе и оно-то и привело меня сюда.

Какое же дело?

Я вдруг почувствовал глубокую горечь и боль всех утрат, настигавших меня в жизни. Я подумал о маме и Гале, о двойной, где-то далеко горящей и не заслуженной мною любви, о Лене, о внимательном и утомленном взгляде Чехова сквозь пенсне. Тогда я прижался лицом к каменной ограде и, стараясь изо всех сил сдержаться, все же заплакал.

Мне хотелось, чтобы калитка скрипнула, открылась, вышел бы Чехов и спросил, что со мной.

Я поднял голову. Горы смутно белели в темноте магическим и неподвижным светом. Я догадался, что на горах выпал снег, сухой, хрустящий, горный снег, какой потрескивает под ногами, как гравий.

И внезапное чувство близкого и неперемного счастья охватило меня. Почему – я не знаю. Может быть, от этого чистейшего снежного света, похожего на отдаленное сияние прекрасной страны, от долго сжатого в глубине сознания и невысказанного ощущения своей сыновности перед Россией, перед Чеховым. Он любил свою страну по-разному, но любил ее и как застенчивую невесту, о которой написал свой последний рассказ. Он твердо верил, что она идет к неиз-

бежной справедливости, красоте и счастью.

Я верил, что оно придет, это счастье, для моей страны, для голодного, ледяного Крыма, наконец, для меня.

Это ощущение было стремительным и ликующим, как порывистый любящий взгляд. Оно согрело мне сердце и высушило слезы усталости и одиночества.

Обратно я шел не скрываясь. В меня два раза стреляли. Наконец в глухой темноте я опять прошел мимо старика с винтовкой у ворот порта. Он так же равнодушно посмотрел на меня, как и несколько часов назад.

Потом я долго сидел на молу, прислонившись к бетонному квадратному массиву (из таких массивов был сложен ялтинский мол), смотрел, как серела ночь, и ждал, когда «Пестель» опять подтянется к причалу. Тогда я заберусь под лестницу в салоне и усну. И даже во сне буду ждать, как всегда ждал наяву, счастливых неожиданностей и перемен.

*Таруса на Оке 1958. Осень*

# Дневники и письма

Паустовский не относился к тем писателям, что старались вести дневники регулярно и обстоятельно. В первую половину жизни он делал записи от случая к случаю, за что часто корил себя. Лишь с возрастом начал заполнять дневники более регулярно. Однако случались периоды, когда такие личные записи в них становились насущной потребностью. Об этом говорит даже сам их внешний вид. Если под рукой не оказывалось тетрадей и блокнотов, он мастерил их сам из листов писчей бумаги или служебных бланков организаций, в которые его забрасывала судьба, – будь то газета «Моряк» или Союз кооперативов Абхазии.

Обращает внимание сам стиль записей. Если письма писались для родных и знакомых, то есть для собеседников, то дневники – прежде всего для самого себя. Часто это были «вехи для собственной памяти», по которым только автор мог восстановить всю цепь событий. Отсюда «телеграфная» манера записей, сведение описаний к одному-двум словам, не всегда ясным для других.

Необходимо отметить, что представляют собой сами «одесские» дневники. По сути они состоят из трех дневников. Первый, «киевско-одесский» период записан в объемной, чуть ли не на 100 листов самодельной несшитой узкой тетради. Записи носят систематический и по хронологии

сквозной характер. Правда, надо заметить, что некоторые листки этой тетради-блокнота утеряны (вернее, пока еще не найдены), в том числе листок с записями после приезда К. Г. Паустовского в Одессу; записи продолжаются лишь с марта 1920 года. Вторая часть «одесских» дневников представляет собой всего лишь два линованных листа бумаги, видимо, вырванных из тетради. На листках рукой Паустовского сделаны соответствующие пометки: «Одесса. 1920 г.» и «Зима. 1921 г.». Третья часть дневниковых записей периода «Времени больших ожиданий» сделана на трех листочках в довольно пухлом блокноте служебных записок Союза кооперативов Абхазии с подзаголовком: «Одесса – Сухум – Батум. 1922 г.» Это позволяет предположить, что записи о плавании на «Димитрии» и о пребывании в Севастополе, как и заметки путевого дневника «Севастополь – Сухум», выполнены им вослед событий, как бы по памяти.

В дневниках немало имен, причем автор часто повторяет их, записывая по большей части сокращенно, иногда инициалами. К тому же по-разному в разных вариантах. Потому особую необходимость приобретают пояснения.

Итак – кто есть кто?

**Крол, Катя**, она же **Хатидже** – первая жена Паустовского, Екатерина Степановна Загорская-Паустовская (1889 – 1968). Знакомство состоялось на фронте I мировой войны, когда оба служили санитарями.

В 1916 году они обвенчались и прожили вместе более два-

дцати лет. В дальнейшем у Паустовского было еще два брака. Крол (то есть кролик), хоть и относится к женщине, нередко употребляется в дневниках и письмах в мужском роде.

В дневниковых записях фигурируют даже события и ситуации, которые ныне не поддаются расшифровке, подчас просто потому, что записаны крайне неразборчивым почерком. Возможно, современные историки и литературоведы, а может быть, краеведы и просто вдумчивые читатели сумеют по этим заметкам восстановить полную картину происходившего.

**Гюль** (Гюль-Назарьянц) Александр Мартынович – журналист, упоминаемый Паустовским в повести «Начало неведомого века» как Назаров. В последние свои годы был сотрудником журнала «Вокруг света».

Упоминаемые в дневниках фамилии **Коваленко, Яковлев, Рыбарский, Мартынов** – работники местных учреждений Райкомвода – Всероссийского союза рабочих водного транспорта – и их комитетов пропаганды.

В последующих дневниках часто упоминается имя **«Колья»**. Это Николай Иванович Харджиев (1903-1996), литературовед и писатель, знакомство с которым у моих родителей началось также еще в одесский период их жизни, в 1920-1922 годы. В РОСТе он не работал, но к нам заходил часто в те годы, старался «воздействовать» на отца в области «левого» искусства, горячим поборником которого Николай Иванович искренне являлся. Правда, у отца обо всем было

свое мнение. В «Повести о жизни» Н. И. Харджиев выведен под именем Коли Хаджаева. Приведу один фрагмент из главы «Мнимая смерть художника Костанди»: «В это время пришел наш корректор Коля Хаджаев, юный студент Новороссийского университета, знаток левой живописи и поэзии, ярый защитник футуристов и поклонник Велимира Хлебникова и Осипа Мандельштама».

Вадим Паустовский

## Из дневников

*(Из Киева в Одессу, конец 1919 года)*

Снова тревога. Канопада. Эвакуация. Отъезд штаба. В редакции – томительные долгие часы. Прорыв. Сборы в дорогу. Некий Козловский – грязный, с кинжалом. С ним – на вокзал. Женщина-извозчик. Есть теплушка. Длительное совещание. Дали деньги. На вокзал и в армянскую миссию. Крол плакал весь день. У Эммы. Вечером грузили вещи на санки. Ваня. Доехали и влезли. Гибель народу. Негде повернуться. Я, Лифшиц и Ярцев на полу. Чаговец <...> Полковник с винтовкой. Кошмарная ночь. Крол топил печку. Утро. Бродили но вокзалу. Мы – в город. В редакции. В студенческой столовой. На извозчике. Снова тяжелая ночь.

Утро. Киселев на вокзале. Отъезд Чаговца и Ярцева. Ве-

чером выгружался Лифшиц. Просторно. Нас перевели – куда-то в тупик.

Бронепоезд «Генерал Духонин». С Подем в город. У Проскур. Тревожно. Перевели к вокзалу. Стрельба по ночам. Верочка. Дурак-капитан в тулупе. Сумасшедшая бабушка. Носим воду. На вокзал. Ссоры с Марией Александровной. Тоска. В грязном тумане – город. Приходила Маруся. Перевели куда-то на задворки, около скелетов вагонов. Начались колебания. Лужи. Туман. Все пути отрезаны. Наконец двинули. Катя и Верочка. Все на местах. Прицепили к длинному составу. Тревожно. Офицерам раздают винтовки. Полковник-комендант.

Тронулись. Банды. Едва ползем без огней. Дежурства на паровозе. Я уснул. Проснулся в Фастове. Вопли дерущихся баб. Белая Церковь. Иней, изморозь. Гадалка. Инженер из Союза. Поляки. Снега уже нет. Ми-роновка. Грузим дрова. Гиблые места. Нищий-агроном. Хмурые мужики. Штаб Слащева. Терцы. Цветково. Вода в сторожке. Замызганная станция Бобринская. Огни, культура. Будем стоять два дня. Утром – за водой у верениц паровозов. Базар. В Смелу. По путям. Дамба у Тясмина. Красиво по-зимнему. Крол тянет свои калошки. Местечко. Тишина и уют. Базар. Еврейские лавчонки. К Проскурам. Нашли. В маленьких комнатках – тепло и чисто. Старуха. Лидия Федоровна и Володя. Обрадовался. Мы грязные, как черти. Пошел проводить. Около церкви. Туман. Дома. Вкусный обед.



Утром Гюль переселился. Поход на Полтаву. Мыли ка-  
лоши. Ходили его провожать. Тащил с полковником ведро.  
Колол дрова. Морозно. Ночью пошли. Утром – степи. Но-  
во-Миргород. Поиски дров. Комод на паровозе. Мешочни-  
ки. Следы крушений. Здесь проходил Махно. Стоим. В степи  
на подъемах. Паровоз набирает пар. Снег вместо воды. Гна-  
лись разезды бандитов. Помошная. Утром Голта – «стоит  
на каменистой почве». Курьезное местечко... [нрзб.] Смот-  
рим в открытую дверь. Украинские хатки. Где-то около Бал-  
ты перерезали телеграфные провода. Тревога. Я ночью де-  
журю. Жарко. Чай...

*(Из одесских записей того же блокнота, с марта 1920  
года)*

Приехал Гюль. Его мытарства. У нас. Вечеринка у Лю-  
бовича. Хейфец и Соломон. У Робина. Ланжерон. Прозрач-  
ное море. Камни обросли льдами. Тишина. Черноморская  
улица. Порт. «Cleopatra». Итальянцы. Английский крейсер  
<Concord> и контр-миноносец «Tabaco». No, hip! Чистота и  
уют в теплых стальных каютах. Английские матросы в широ-  
ких брюках, с трубками. Мильруд. С Катей и Гюлем – на Лан-  
жерон. Крол нездоров. Радуетя как маленький. Камешек.  
Порт. «Dumont Dugville" после взрыва. На шлюпке. Старый  
миноносец „Беспокойный“. Пищат и дерутся чайки. Гирлян-  
ды снега.

Вечером – в городской театр. Красивый, итальянский.

Гражданская жена Любовича. Хейфец – шалый. Смех. Убогие кооператоры. Юбилей «Рочдэльских» пионеров. Домой. Кекс Кролу. Уже выздоровела.

Написал об Оберучеве.

Приехал Лифшиц с женой. Обрадовались. К себе. Кофе. Обедать – в «Отдых-». „Южное слово“. Клеопатовский. Хорошая редакция, но редактор – мальчишка. Дурацкий телефоу. К Поляковскому – Гюль и каштаны. Стрельба. Брели, хромая, по темным улицам. Спальня. „Шляпа“ Лифшиц Сонечка. Плач. Пришли. Уютная квартирка у Федора Давидовича. Тепло. Уснул. Утром – бежали. Солнце и влага. На следующий вечер – ночевать к Полю. Тьма, окраины, весенне и свежо пахнет морем. Белая, чистая, одинокая комната. Холодно. „На северной форелевой реке“. Шумит море. „Вилла ветров“. Тоска о Москве. Английский кофе. Дикая ночь, не раздеваясь. Гюль сердится. Утро – море дымно-розовое у берегов, дальше синеватый свинец. Ветер. Крол на „Commandant Barry“.

*(Из записей на отдельных листках, октябрь – ноябрь 1920 года)*

**21.** Серый день сквозь ржавчину листьев. Сизый туман холодного моря и алые просветы над его северным берегом. Василий Иванович у нас. Художник. Иконописец. «Последние новости» в Париже. Ярцев в Константинополе. Он снимает перед морем шляпу. Северянин в Ревеле.

**22.** На службе гнусно. Едва досиживаю до трех часов. Мясо. Тоскливо. Батарейный переулочок – словно в Севастополе. Читаю «Боги и люди» Поля Сен-Виктора. Декаданс, рассыпанный массой ценных и точно-вычеканенных вещей. Бесилье мысли. Хорошо о Марке Аврелии. Бензиновая свеча

**24.** Музей Толстого. Анфилады комнат в золотистом осеннем солнечном свете. Штофные стены. Дворец. Итальянский рояль. Empire и барокко. Чудесные японские вазы. Хороши миниатюрные портреты. «Ветер. Версаль» Бенуа. В окнах версальского дворца отсвечивает дождливый, тускло-желтый закат. Ветер рвет плащи. Красота ровных газонов, статуй, стен из зелени. Людовик XIV... Рассказы Крола о версальских фонтанах.

В университете. Белый восьмигранный зал. Годовщина литературного кружка. Шенгели – истомленный. Набриев. Читал «Поэтам». «Друзья, мы римляне». «Золоторжавая, холодная заря» над форумом. Приход нового Ронсара. Кованные стихи. Тоска. Я создан для этого. Андрей Соболев читал «Тихо было». Вспомнил «Цыганского барона». Вера Инбер – маленькая одесситка в красной вязанной кофточке. Шамкал Де-Рибас. Красивый вечер. Фосфористая луна. Думы.

**25.** Холодно. Я в летнем пальто. Раздевают страну. Вечером – полный месяц над зимним морем в сизом, углубленном небе. Серебряный диск сквозь ржавую листву.

У нас больной Антонин с Фонтанов. Был на принудительных работах – нажил флегмону. Прожорлив. Старая казен-

ная крыса. Она. Дикая пара. Наше время доводит до идиотизма. Холода. В комнате ниже нуля. Именины у Головчиных. Опухли руки. Тоска. Статья Рысса в «Общем деле».

У Василия Ивановича. Немочка жена. Столовая. Поэтесса Данилова. О Шенгели. Серо-желтый парк

Читаю Розанова. Чудесный русский язык Рим, жить в нем. Вторая родина. Смерть Гартенштейна, – от тоски. Несколько дней ничего не ел. Похороны. Полянский и Лоран. Ковальский. Обмывание на кладбище. Драка канторов. Торг как на базаре. Омерзительно. Ой, Лейбе-Ицко. Встретили арестованных – около двух тысяч. Врангель разбит. Радиостанция приняла радио с «Адмирала Корнилова» об оставлении Феодосии и Севастополя. Удерживаются в Ялте. Последний акт трагедии. «Громадный народ умирает в тоске, как больной заброшенный зверь». Сергей Петрович у нас. Сидел в тюрьме. Крики женщин, которых ведут на «размен». По вечерам – тьма, холод. Уходит жизнь. Ждут «Волю», которая якобы пришла сдаваться. Таскаю обед. Серые сумерки.

**20.** На море сильный шторм. Заходил на бульвар. Волна перекатывает через молы. Зеленое море. Ветер. Брусилов... говорил о Петрограде, – за 6 дней он не слышал смеха, не видел ни одной улыбки. Говорят шепотом. Импотенция мужчин. Прекратилось деторождение.

**22/XI.** Мутные, свинцовые дни. Был Сергей Петрович. Спал несколько дней в бараках – обовшивел. Около 6 часов вечера неожиданный и сильный оружейный огонь. Никто не

знает – что это. Тяжелый гром в [нрзб.], оправленный в яркую ржавчину парк.

У батюшки умер ребенок.

Именины Крола. Хризантемы. В холодных комнатах. У Ковальских. Восточная музыка. Черные ночи. Медведев. Его рассказы. Много читаю об искусстве. Хейфец. – Замерзло море – особый запах снега. Рождество. В монастырь. Красавица-послушница. Лицо Нестерова. Диакон. Великая ектения. Сочельник Елочка. Лифшицы. 1-ый день у моря. Молочный туман. Бледно-зеленое, едва шумит у дамбы. Ледяные торосы. Плач чаек.

Свежесть. Отдых – покой. У Ивановых. Свиньи в гостиной. «Моряк». Скука этой жизни. В кабинете изящных искусств университета с Ковальским – Серов, Борисов-Мусатов. Изможденный хранитель – Василенко.

**29/ХІІ.** 14° тепла. Совсем весна, – все в синем отблеске. Тихое море. А в Москве – костры в морозном тумане. Готовимся к Новому году. Новый год – у нас. Ковальские. Коньяк Тепло. Танбура. «Просим младшего корнета выпить рюмочку вина». Утром к морю. Я в летнем пальто.

«Моряк». Купчиха Благова. Темно. Ермил Иванович.

**(Зима, 1921 год)**

Мальвина с помятым лицом. «Южный транспорт». В типографию. Дикая ночь. Снег. Иван Гаврилыч – боцман с «Гангута» с вырванной ноздрей. «София». Болгарский ка-

питан. «Астракан». «Варна» бьется сквозь лед. Уткин. Зарисовки. Первый № «Моряка». В типографии. Чай. Благов – приказы. Канышевич уехала в Болгарию, Любович негодует. Эйбер – горлан и скандалист... Боцман Яков и его ужасная жена. 9-го января на Б. Фонтан. В домике тишина, собака, трещит печь, шуршат листья, с моря тянет теплом.

Масляная. У Ивановых, Бона, дети. У нас. Гюль. Еще холодно. На живую газету. Кронштадтское восстание. Растерянность среди коммунистов. Папаша Кривоходкин. «Не так ревно, як его жинка». Бершадт. В редакции весело. Капитан дальнего плавания. Аншелес-Терский. Книги о Кавказе. Острослов. Сценки с Ивановым. Фицев. «Решид Паша» с врангелевцами. На «Дмитрии» с Евгением Николаевичем. Март, тепло, влажные доски пристаней. Близится Пасха. Лукагер. Его жена-парижанка. В типографии – кепстэн. Подорольский. Пасха. Даша печет куличи. Миндаль. Красиво в комнатах. Стурдзовская церковь. Монастырь. Разговенье. Цакни. Гюль и поэтесса Данилова. У Иванова – банкет. Вино. У Головчинеров на Базарной. Ганфман отяжелел. Мобилизация журналистов. Проводы. Старый Лифшиц, его шапка. Тепло, цветет акация. История с речью Ленина. На заводе Черномортранса. Подводная лодка «Лебедь». Ковальский в Крыму. Носил куличи ей на квартиру. Приехал. Почернел, длинные волосы. Скрывался у нас. Сел в бает. Лукагер с дочкой у нас. Я у них. Лимон. Рыжий. Фешенебельно. С Ковальским в Аркадию. Жара, солнце. На 9-ую станцию.

Дядя Коля. Снова к морю. Пакр Ралли – развалины, [нрзб.] вода, [нрзб.], проводы. Виды Крыма.

**(Из путевого блокнота: Одесса – Севастополь – Сухум, январь 1922 года)**

19/1. Одесса. Туман. Белый вышитый шатер. Абергуз. Левшин на «Ба-туме». Ночь на рейде. По брегватеру гуляет прибой. Город во влажных огнях. Тоска. Утром снялись. Упруго заходили палубы, желтые берега. Фонтаны... Санджейка. Гудок лоцмана. И открытое море. Мелодично позванивает лаг. Качка. Пассажиры травят якоря. Одиночество. Зеленко. Плавающая мина. Ночью винт треплется в воздухе. Утром страшный, поистине страшный шторм. Океанская волна. Берега Тарханкута. Размахи. Лаг стоит. Сносит. Зеленко и командир Николаевского порта. Абергуз мучается. Смертельная тоска. Молитвы о Кроле. «Пошли». Бухта Караджи. Голая степь. Вечер. «Сумасшедший» Апухтина. Капитан и механик Санджейского маяка. Капитан – волгарь. Ария из «Князя Игоря». Радио в Одессу. В каюте капитана. Солнце и испарения. Море ходит гейзерами. Бунт военмором. Глаз Тарханкута. «Ветер драит». Пошли. Испарения. Ночь в открытом море. Белая пена в черноте. Берега Евпатории. Отошли. Снова ночь. Каша. Сон на корзинах. Минный офицер. Песня о трубочке. Утро. Идем в густом молоке. Вдруг солнце, тишина, густая бирюза и мертвые слитки крымских гор. Снег на спардеке. Гидроплан. Кача. Тихо шу-

мят волны. В солнечных дымах – Севастополь.

Пушка. Прощанье. В город. Обед. Гармоника. Райкомвод. Коваленко. Проводы «Дмитрия». Новое радио. Соборная 26. Тоска щемит сердце. Думы о Хатидже. Садовая, детский сад. Адмиральша Коланс. Мичман и козы. Строгановец Макаренко. Гончаров. Пьяная история. Диван, холод, пароводная лампа. Дни в городе. Морагенство. Базар, золото. Серые туманы на Приморском. Хоран<sup>13</sup> на Историческом. Тоска по 16 году. Столовая водников. Кустарная выставка. Около Коммерческого училища. Петропавловская церковь. Рассветы. Чай у адмиральши. Николаеведы. «Пестель» – Рыбарский. «Вече».

Жарко. Дрема. Приход «Батума». Погрузка. Ходынка. Нахал-помощник Американский миноносец «240». Неохотный салют. Херсонесский маяк

В рубке с Перевозчиковым. На корзинах. Пот и духота. Синие крымские горы. Сарыч. Облака. Зелено-мутное море. Обогнал миноносец. Печаль. Ночью Ялта. Дождь. У Яковлева. Накурено. Лужи...

---

<sup>13</sup> В повести «Романтики» К.П. Паустовский так объясняет значение этого слова: «По-японски это те несколько минут, когда день уже ушел, а ночь еще не началась» (*прим. ред.*)



## Письма Е. С. Загорской-паустовской

*Из Севастополя в Одессу, 25 января 1922 года*

Крол, родной. Только на море во время страшного шторма, который перенес «Дмитрий» около Тараханкута, я понял, как глупо и даже преступно оставлять друг друга. Мы должны быть всегда вместе. Ведь мы совершенно одни в этой жизни.

Я, как и все пассажиры «Дмитрия», перенес несколько действительно не выдуманно страшных дней. Ночь на пятницу мы простояли на рейде. Ушли только утром. К вечеру в открытом море начался шторм. Ночью он усилился. Утром весь пароход трещал и гудел от ветра и нырял в пену по самую палубу. Когда я вышел из каюты, я сразу ничего не понял – выше мачт, уходя в небо, шли водяные горы, и «Дмитрий» едва карабкался на них, черпая бортами воду. Капитан говорил потом, что волны были океанские, каких он на Черном море не помнит. Ветер по морскому выражению достиг 11 баллов – т. е. был «полный ураган». Ходить по палубе было нельзя. Вода застывала на бортах и лед нарастал глыбами. Но мы все-таки шли – 1/2 мили в час. К вечеру наступил момент, когда машина перестала выгребать, и пароход стало сносить и заливать. Было темно, все ревело так, что голосов не было слышно, волны перекачивали через палубу, и капи-

тан дал в Севастополь радио о гибели.

Ты не можешь, маленький человечек, понять, какую тоску пережил в течение этого часа. Пассажиры плакали, молились, женщины выли от ужаса. Я сдерживал себя и думал только об одном – о Кроле и думал о том, что Крол должен молиться обо мне, и все повторял про себя – Крол, молись, тогда все пройдет.

Нос дал течь и стал садиться в воду. Я ушел в каюту, чтобы не слышать дикого морского рева и ждал, закрыв глаза, и думал о Кроле. И случилось чудо. Пришел матрос и сказал, что машину довели до крайнего напряжения и мы идем – 1/4 мили в час. Так, карабкаясь, ежеминутно рискуя взорвать ветхую, дырявую машину, мы ночью подошли к Тараханкуту. Здесь волна у берега стала слабее, и «Дмитрий» вошел в бухту Караджи, к северу от маяка, – отстаиваться.

Стояли там два дня. Потом пошли к Евпатории, шли до ночи все время в сплошном шторме и густом непроницаемом тумане. Ночью бросили якорь в открытом море. Качало сильно.

Утром прошли еще 10 миль и снова стали – над морем шли испарения (я это вижу впервые – все море кипит струйками пара, как вода в гигантском котле). Простояли еще ночь.

Сегодня утром запросили Севастополь по радио, и он ответил, что в 2 милях от того места, где мы остановились, никакого тумана нет. Мы пошли наугад, и здесь я видел второе

чудо – за мысом Лукулл туман сразу словно бритвой срезало, шторм и ветер стихли в течение 2 минут, жарко полилось солнце, и в необычайно чистом воздухе четко и радостно встали Крымские горы – Чатырдаг и Демерджи.

К концу шторма не хватило пресной воды, масса пассажиров отморозило себе ноги, почти у всех вышли все продукты (у меня все же остались), и на пароходе начался форменный голод.

К Севастополю мы подходили словно к сказочному городу. С моря он необычайно красив. Здесь тепло. Райкомвод дал мне комнату на Садовой 12, недалеко – почти рядом с Соборной, где ты жила. Я бродил по знакомым местам, зашел во двор (старуха Чуева жива), и все время мне было так хорошо и грустно, и я думал о моем зайчишке, вспоминал 16 год.

Послезавтра еду в Ялту на автомобиле. Вернусь к половине февраля. Готовься к этому времени к отъезду – мы поедem на «Вега» – это спокойно и хорошо. А на «Дмитрии» я дал себе зарок не ездить – грязно, пароход был набит битком, и в каюте (единственной) нас было 10 человек (вместо 2-х). Вши, рвота, спанье на корзинах – все это только на «Дмитрии». Ехал я в компании Абергуза и Зеленко и 7 очень славных моряков -о них я расскажу подробно. Послал с пути 2 радио в «Моряк» – получили ли? Почтение ко мне всюду необыкновенное.

Как уютен и солнечен Севастополь. Как тепло, ярко, юж-

но. Уедем мы непременно. Все это страшно освежает.

Я здоров. Можешь гордиться. Твой Кот оказался хорошим моряком. Меня совсем не укачивает. Все пассажиры и часть команды, по выражению капитана, «травили якоря», – я же ничего не чувствовал. Хотелось только есть.

Здесь дороговизна. Все, что нужно, я сделаю. Кое-что уже узнал.

Заходи в редакцию, береги себя, не голодай, жди меня и почаще обо мне думай... Кота погладь за пышными ушами. Кланяйся всем знакомым. Привет Фраерману и Коле. Пиши мне с каждым пароходом. Из Ялты снова напишу. Посылаю материал в редакцию. Дело с корреспондентами и подпиской налаживается.

Целую. Твой Кот

### *Из Севастополя в Одессу, 30 января 1922 года*

Крол, родной, маленький. Если бы ты знала, какая у меня тоска по тебе. Сегодня вечером я даже плакал. Я, как маленький, считаю дни. По моим расчетам я вернусь в Одессу к 18-20 февраля. До сих пор я в Севастополе – жду «Батума», который почему-то не идет. Говорят, одесский порт замерз, и он не может выйти. Такая долгая остановка в Севастополе спутала мои расчеты, и потому я решил больше нигде не останавливаться (тем более что пароходы стоят в портах минимум 8-10 часов) и на «Батуме» вернуться в Одессу. В крайнем случае остановлюсь в Сухуме, чтобы устроить

свои личные дела.

Дни мои здесь проходят очень томительно. Я брожу по знакомым местам, по Соборной, по Приморскому и Историческому бульварам и вспоминаю тебя, март 16 года, и мне почему-то очень грустно. Был я даже около Коммерческого училища...

Голод здесь жуткий, под его впечатлением проходят все дни. Город мертвый и притихший. На улицах бродят толпы голодных. Хлеб надо заворачивать и прятать под пальто – иначе вырвут. В каждой столовой есть специальный человек, который стоит у двери и отгоняет толпу голодных палкой. В такой обстановке приходится мне обедать.

Завтра идет в Ялту миноносец. Если утром выяснится, что «Батум» придет не раньше пятницы, – поеду на нем, – в Ялте легче ждать – там Яковлев. Пиши мне с «Батумом» – письмо оставь у капитана, комиссара или помощника. Деньги расходую экономно. Привет всем. Послал 3 радио и 3 корреспонденции. Почаще думай обо мне и береги себя. Котишку погладь за меня. Если бы ты знала, как меня тянет к тебе, домой.

Поедем в Сухум не раньше 1 апреля, когда стихнут штормы.

Целую. Кот

*Кроме двух публикуемых писем К. Г. Паустовского к Екатерине Степановне, в мамином архиве нашел еще одно пись-*

*мо, предположительно написанное им в 1920 – 1921-х годах. Собственно, это даже не письмо, а деловая записка. Выдержки из нее для полноты картины «одесской» жизни привожу:*

Крол, родной... Завтра я думаю устроить все с отпуском и тогда во вторник или среду приеду к вам на хутора. Если меня до пятницы не будет, значит дело не выгорело. Следующую субботу, или в крайнем случае в воскресенье приду снова на Фонтаны, приму, может быть, участие в перевозке хлеба морем...

<...> В городе все по-старому. Обысков не было. Приходит каждый день Головчинер с Полянским. Питаюсь я очень хорошо – съедаю кроме обеда и чая еще по два фунта абрикосов. Пишу много. В домике стало без тебя пусто и скучно, – словно и домик-то не живой. По маленькому зайцу соскучился я очень...

*Твой Кот*

# Сергей Ларин. РАЗМОЛВКА

## К первой публикации повести «Время больших ожиданий»

«Повесть о жизни» Константина Паустовского – своеобразный творческий итог писателя. Главная его книга. Собственно, всю свою жизнь автор шел к ней, накапливая и сохраняя в памяти все впечатления бытия.

Примечательно, что уже с самых юных лет Паустовский готовил себя к профессии писателя. В этом не было простого, наивного стремления к популярности и славе, которые в отроческие годы испытывают многие. У Паустовского тяга к творчеству была вполне определенной, сочеталась с его неизменной любовью к путешествиям, странствиям, смене впечатлений, жадой понять и постичь окружающий мир. Для этого молодой Паустовский предпринимает необходимые шаги. Ощущая недостаточность своего жизненного опыта, работает газетным репортером, выступает в печати как очеркист и публицист.

Журналистские поездки по стране с конкретными редакционными заданиями намного расширили кругозор Пау-

стовского. Подчас по результатам таких служебных командировок у него возникали и оригинальные творческие замыслы, обретая свое воплощение на страницах будущих книг. В итоге творческих поездок от журналов и издательств в Петрозаводск и на Каспий родились такие вещи, как историческая повесть «Судьба Шарля Лонсевиля» и книга «Кара-Бугаз», принесшие ему широкую известность.

Характерная особенность этих произведений – то, что в них уже содержатся, как правило, некие литературные заготовки к Главной книге. В последующих книгах о Мещере или Колхиде писатель не только активно включает самого себя в повествование, но использует и свои творческие наработки.

В «Повести о жизни» писатель не просто описывает отдельные эпизоды своей биографии, он подчас существенно трансформирует, видоизменяет подлинные факты, вводит в свой рассказ вымышленных героев либо значительно преобразует портреты реальных персонажей.

Критики упрекали писателя в уходе от действительности, что он отстранился от насущных нужд восстановления страны из военных руин, – что-де «Паустовский ушел в „Далекie годы“, а Федин – к „Первым радостям“. Они же упрекали его и в том, что он, так сказать, искусственным путем обогащает свою биографию, выезжая на всякого рода стройки, промышленные и прочие объекты. Когда автор стал публиковать первые книги „Повести о жизни“, подобные разгово-



ры снова возобновились.

При внимательном чтении автобиографической работы Паустовского в ней нетрудно обнаружить некие внутренние «водоразделы», продиктованные автору, видимо, не только и не столько композиционными, сюжетными соображениями или разнородностью самого жизненного материала, который он положил в основу повествования, но и другими не менее важными моментами.

К примеру, само название «Повесть...», вынесенное автором в заголовок всего автобиографического цикла, уже как бы указывает на то, о чем упоминалось выше. А именно, что перед нами не просто жизнеописание автора, плоско скопированное с подлинной биографии, а художественное полотно о становлении писателя. Эту деталь полезно иметь в виду при чтении «Времени больших ожиданий». Ибо и вымышленные персонажи, возникающие на ее страницах, и подлинные действующие лица, которые в ней иной раз, наоборот, отсутствуют, – все это имеет свой смысл, и рассказчик прибег к подобным приемам не случайно. Писатель тем самым сохранил за собой необходимую ему свободу действий, позволяющую вольно и непринужденно продвигаться в рамках собственной биографии, только слегка подретушированной, но не в целях лакировки действительности, а ради выразительности и рельефности общей картины.

В период, которому посвящены заключительные книги «Повести о жизни», личность мемуариста к тому моменту

уже в значительной мере сформировалась. Рассказчик более сосредоточен на себе, на поисках им собственного пути в искусстве. Не случайно К Паустовский представляет колоритную жизнь Одессы тех лет довольно фрагментарно, не претендуя на широкие обобщения. Он больше озабочен воспроизведением самой атмосферы, которая царила тогда в редакции газеты одесских водников «Моряк». Эта газета оставила заметный след не только в культурной жизни города, но и в истории отечественной журналистики и литературы. Сейчас даже трудно поверить, что в «Моряке», печатавшемся из-за тогдашней острой нехватки бумаги на оборотной стороне чайных бандеролей, сотрудничало целое созвездие ярких имен: С. Гехт, И. Ильф, Е. Петров, В. Катаев, И. Бабель, А. Соболев, Ю. Олеша, Л. Славин, Э. Багрицкий, В. Инбер, С. Бондарин, В. Нарбут, З. Шишова и другие. В скором времени многие из них войдут в большую литературу.

И не случайно, разумеется, К Паустовский фокусирует свое внимание на характерных особенностях этой газеты, на своих товарищах по литературному цеху, с которыми он общался в редакции, на профессиональных их навыках.

С каким трепетным чувством, например, Паустовский вспоминает о том, как Исаак Бабель, с которым они летом жили по соседству на даче, однажды познакомил его с черновиками своего рассказа «Любка Казак», насчитывающего всего 34 страницы. Бабель протянул Паустовскому пухлую папку. В ней было 22 варианта этой вещи. Из рыхловатого

поначалу текста Бабель убирал и вычеркивал все лишнее.

Паустовский потому и останавливается на данном эпизоде и на фигуре Бабеля столь подробно: для него это наглядный урок. А такое, согласитесь, дорогого стоит!

Первые книги этого автобиографического цикла – «Далекие годы», «Беспокойная юность» – появились в середине 40-50-х годов в «Новом мире». Однако «Время больших ожиданий», предложенное Константином Паустовским журналу, отверг главный редактор – Александр Твардовский. Он посчитал книгу достаточно легковесной, искажающей революционный облик Одессы 20-х годов. В результате вещь, первоначально как бы уже принятая редакцией, была возвращена автору, после того как Паустовский отказался «перепахать» рукопись согласно жестким редакционным требованиям. (Переписка Твардовского с Паустовским предлагается вниманию читателя.)

Письмо А. Твардовского К Паустовскому написано в не свойственном главному редактору «Нового мира» жестком, менторском тоне. А это, казалось бы, никак не отвечало целям журнала, декларируемым в том же самом письме. Ведь редакция вроде должна быть крайне заинтересована удержать в своей орбите такого автора, как Паустовский, близкого им по духу, а главное, по своим чисто литературным качествам. Но письмо изобилует выражениями, которые скорее способны глубоко уязвить адресата. В нем как бы повторяются уже знакомые упреки критики в том, что автор искус-

ственным путем обогащает свою биографию. И Александр Трифонович выговаривает собрату: «Сами того может быть не желая, Вы стремитесь литературно закрепить столь бедную биографию, биографию, на которой нет отпечатка большого времени, больших народных судеб». Подобный упрек брошенный Паустовскому, абсолютно несосоятелен.

Поэтому вполне справедливы слова К. Паустовского о редакции, которая будто не хочет терять с автором контакт, но вместе с тем «сделала все возможное, чтобы этот контакт уничтожить».

В самом деле, редколлегия не могла не понимать, что такого рода «обвинения» вызовут у К Паустовского самую негативную реакцию, вплоть до отзыва злополучной рукописи (кстати, именно это и случилось!).

Возможно, К. Паустовский догадывался об истинной подоплеке столь резкого письма. Не случайно в ответе А. Твардовскому он замечает, что письмо главного редактора «продиктовано, очевидно, внелитературными и служебными соображениями».

Как бы то ни было, разрыв отношений между редакцией и автором произошел. В результате, как уже говорилось выше, «Время больших ожиданий» появилось годом позже в «Октябре». Никаких шельмований со стороны критики по поводу повести (которые предрекал А Твардовский в письме К Паустовскому) не последовало, как и оргвыводов в отношении самого журнала.

Ныне, по прошествии четырех десятилетий со дня первой публикации «Времени больших ожиданий», роль этой книги возросла и упрочилась. Примечательно, что современные исследователи и историки литературы главную заслугу Константина Паустовского видят в том, что он первым вернул из небытия целую плеяду талантливых писателей-одесситов, которых походя именовали «юго-западной школой», «юго-западным направлением». Их предпочитали вообще не замечать или же упоминали в негативном плане, как группу литераторов, чуждых по своим устремлениям столбовой дороге соцреализма.

Здесь было бы уместно привести один малоизвестный текст Паустовского. В своем приветствии участникам научной конференции «Литературная Одесса 20-х годов», проходившей в Одессе в ноябре 1964 года, Паустовский, сожалея о своей болезни, невозможности присутствовать лично на этой встрече и принять участие более близкое и деятельное (приветствие отправлено им из больницы), писал:

«Я... никогда не устану об этом думать, вспоминать... никогда не устану говорить о том, сколько хорошего, важного принесла мне дружба с Черным морем, с тенистой и солнечной разнохарактерной Одессой, с ее веселыми людьми, славными одесситами, среди которых были такие писатели и поэты, как Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров, Семен Гехт... Одних я знал больше, дружил с ними ближе, других знал меньше, но от

всех этих встреч я становился богаче. Я очень люблю и ценю писателей и поэтов, чьи имена принято связывать с Одессой: кроме упомянутых – Лев Славин, Сергей Бондарин, Адалис, Шишова.

Не знаю, прав ли я, но мне трудно представить себе Бабеля без Гехта, Олешу без Славина или Бондарина. Разумеется, этим я не хочу сказать о равнозначности этих очень разных литературных талантов. Я говорю об их духовном родстве, о преданности литературному делу...

Я не назвал еще многих, кого следует отнести к этой славной группе советских писателей и поэтов. Я назвал имена наиболее мне близкие.

Мне не раз приходилось слышать, что и меня относят к ним, к южанам с берегов Черного моря. Возражать не стану. Какой-то общий ветер обвевал этих людей, и я действительно чувствовал этот ветер на своих щеках.

Что же это за ветер? Почему так случилось, что за ничтожно короткое время один город дал такой литературный урожай? Конечно же, очень интересно об этом поговорить и подумать.

Ваша конференция подтверждает мою мысль».

Возвращаясь к самой истории расхождения писателя во мнениях с редколлегией ведущего «толстого» литературного журнала, следует заметить, что это никак не распространилось на читательскую аудиторию. Читатели сразу приняли повесть «Время больших ожиданий» со всеми ее досто-

инствами и недостатками, приняли и полюбили. Это до сих пор – одно из самых популярных и читаемых творений Константина Паустовского.

## К. Г. ПАУСТОВСКОМУ <sup>14</sup>

26 ноября 1958 г.

Мы были очень обрадованы встречей с Вами в редакции после первого чтения «Времени больших ожиданий». Более того, мы с особым удовлетворением вспоминали и ставили в глаза и за глаза в пример некоторым молодым, да ранним Вашу исполненную достоинства скромность, готовность и способность спокойно выслушать даже и не очень приятные редакторские замечания, по-деловому заключить нелегкий разговор согласием «перепахать» еще раз рукопись, сделать все, что необходимо для беспрепятственного ее опубликования.

И нам, право, жаль, что покамест – так уж оно получилось – результаты «перепашки» оказались, мягко выражаясь, малопродуктивными. Да, Вы внесли некоторые изменения в текст повести, кое-что опустили, кое-что даже вписали, например, странички, призванные разъяснить особое положение Одессы в 20-21 гг. Так, Вы, объясняя «тишину» и, так сказать, свое право пользоваться благами этой «тишины»,

---

<sup>14</sup> В сборнике: А. Твардовский. Письма о литературе. 1930 – 1970. – М.: Сов. писатель, 1985. С. 145 – 146.

сообщаете, что наступила она вследствие ухода рабочей части населения города на северные фронты и в деревню от голода. Словом, ушли, нету их, нет необходимости их описывать. Согласитесь, что этот прием сходен с тем, что применяют авторы некоторых пьес, удаляя со сцены детей (к бабушке, к тетушке, в деревне и т. д.), мешающих взрослым резвиться на просторах любовной и иной проблематики.

Но дело, конечно, не в этом, а в том, что внесенные Вами исправления нимало не меняют общего духа, настроения и смысла вещи. По-прежнему в ней нет мотивов труда, борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море и всяческие красоты природы, самоценность искусства, понимаемого очень, на наш взгляд, ограниченно, последние могикане старой и разные шелкоперы новой прессы. Одесса, взятая с анекдотически-экзотической стороны.

Не может не вызывать по-прежнему возражений угол зрения на представителей «литературных кругов»: Бабель, апологетически распространенный на добрую четверть повести, юродствующий графоман Шенгели в пробковом шлеме, которого Вы стремитесь представить как некоего рыцаря поэзии; Багрицкий – трогательно-придуракова-тый, – Вы не заметили, как это получилось, – придураковатый стихолюб и т. п.

И главное, во всем – так сказать, пафос безответственного, в сущности, глубоко эгоистического «существования», обывательской, простите, гордыни, коей плевать



на «мировую историю» с высоты своего созерцательского, «надзвездного» единения с вечностью. Сами того может быть не желая, Вы стремитесь литературно закрепить столь бедную биографию, биографию, на которой нет отпечатка большого времени, больших народных судеб, словом, всего того, что имеет непреходящую ценность.

Таким образом, Константин Георгиевич, эта «доработка» не позволяет нам считать рукопись пригодной для опубликования в журнале, – если бы мы это сделали, мы навлекли бы на Вас тяжкие (и, увы, справедливые!) нападки критики, да и журнал бы понес серьезный урон, журнал, который, смеем думать, никак не менее других журналов способен понять специфику художественного изъяснения, индивидуальную особенность письма и т. п.

Мы просим Вас еще раз обратиться к рукописи, не торопясь и не решая вопроса облегченным способом. Мы хотели следующих конкретных авторских «вмешательств» в изложение:

- 1) Несколько добрых, не формальных слов о людях труда, налаживающих новую жизнь в Одессе после ухода белых;
- 2) Решительного сокращения апологетического рассказа о Бабеле, который, поверьте, не является для всех тем «божеством», каким он был для литературного кружка одесситов;
- 3) Снятия истории с публикацией в «Моряке» (...) <sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Так в тексте.

4) Снятия «спора о Родине» в Доме творчества «Переделкино» (там одинаково неправы обе «стороны»);

5) Устранения в нескольких случаях особо «кокетливых» фраз и абзацев, вроде того, что на первой странице, где цитируются плохонькие стишки Адалис (неужели Вы не замечаете этого, например, употребления ею слова «помалу» в смысле «мало», тогда как смысл этого слова другой – постепенно, помаленьку).

Вот и все, примерно, дорогой Константин Георгиевич. Мы искренне хотим быть понятыми правильно, мы хотим напечатать Вашу вещь, имея в виду и вообще интерес читателя ко всему, что принадлежит Вашему перу, и, в частности, интерес журнала, который никак не хотел бы утратить и в данном затруднительном случае контакт с таким автором, каким являетесь Вы.

Не откажитесь откликнуться на это письмо.

Александр Твардовский

**РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  
ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» А. Т.  
ТВАРДОВСКОМУ, А. Г. ДЕМЕНТЬЕВУ<sup>16</sup>**

7 декабря 1958 г.

Получил Ваше письмо от 26 ноября. Задержал ответ, так

---

<sup>16</sup> К. Паустовский. Собрание сочинений: В 9 т. – М.: Худож. лит., 1986. – Т. 9: Письма. 1915 – 1968. – С. 351 – 353.

как сейчас очень болел и писать мне трудно.

Прежде всего я прошу редакцию тотчас же отправить два экземпляра моей рукописи («Время больших ожиданий»), находящихся в «Новом мире», на мою московскую квартиру во избежание всевозможных недоразумений.

Теперь несколько слов по существу. Редакция утверждает, что она не хочет терять контакт со мной, но вместе с тем сделала все возможное, чтобы этот контакт уничтожить. В данном случае я говорю даже не о содержании письма, а о его враждебном, развязном и высокомерном тоне.

Я – старый писатель, и какая бы у меня ни была, по Вашим словам, «бедная биография», которую я стремлюсь «литературно закрепить», я, как и каждый советский человек, заслуживаю вежливого разговора, а не грубого одергивания, какое принято сейчас, особенно по отношению к «интеллигентам».

Нельзя ли редакции «Нового мира» страховать от возможных уронах с большим достоинством и спокойствием.

Я обещал Вам «прополоть» рукопись (до возможного для меня предела), что и сделал, а не в корне «перепахать» ее. Вы сами прекрасно знаете разницу между этими двумя понятиями, когда они переносятся в литературу. Поэтому редакция напрасно делает вид, что ее обманули.

Все, что вписано в последний экземпляр о рабочих в Одессе, сделано по Вашему прямому предложению после того, как я рассказал Вам о специфическом положении Одес-

сы в те годы. Поэтому пошловатое сравнение этого якобы «приема» с поведением взрослых, усылающих детей, чтобы они не мешали взрослым «резвиться на просторах любовной проблематики», поразило меня своим дурным вкусом и грубостью.

Я никому не обещал и не брался писать эту повесть о труде. Этой теме посвящены другие части эпопеи. Что же касается политики, то ею так наполнена третья книга («Начало неведомого века»), которую Вы, по Вашим словам, не читали, что насыщение политикой еще и четвертой книги было бы простым повторением.

В книге, по-Вашему, показаны разные «щелкоперы новой прессы». Такое заявление более пристало гоголевскому городничему, чем редакции передового журнала. Щелкоперов нет! Есть люди. Люди во всем разнообразии их качеств, и незачем клеить на них унижительные ярлыки. У какого-нибудь одесского репортера может быть больше душевного благородства, чем у Вас, сомнительных учителей жизни.

Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду считать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других прекрасных наших писателей и поэтов, независимо от их национальности. Если редакция «Нового мира» думает иначе, то это дело ее совести.

Почему Багрицкого, человека шутиwego, вольного, простого, Вы считаете изображенным в качестве трогатель-

но-придураковатого стихолюбца? Из чего это видно? Неужели из того, что он ненавидел чванство и спесь, ставшие одной из современных доблестей.

Что касается Ваших слов «о гордыне автора, которому плевать на мировую историю» с высоты своего «единения с вечностью» (?), то эти путанные слова отдают фальшью и свидетельствуют о непонимании текста.

Вас, как поэта, я хочу спросить, Александр Трифонович, что означает лермонтовское «Выхожу один я на дорогу»? Не то же ли «единение с вечностью», по вашему толкованию. Тогда побейте Лермонтова камнями, если Вы искренни.

Пожалуй, хватит. Скажу только, что я не ожидал именно от Вас столь незначительного письма, продиктованного, очевидно, внелитературными и служебными соображениями.

Не знаю, – заслужил ли я в конце жизни такое письмо от поэта? Судя по десяткам и десяткам тысяч писем читателей – не заслужил. Но Вам, с официального верха, виднее.

Напоследок решаюсь посоветовать Вам хотя бы быть логичнее и, сначала приняв (может быть, сгоряча), в основном, мою повесть, не стараться потом начисто опорочить ее, как Вы это делаете, опорочить все ее четыре книги заявлением о ничтожности моей биографии.

В старину говорили: «бог вам судья», подразумевая под богом собственную совесть. Вот единственное, что я могу пожелать Вам. Рукопись прошу поскорее вернуть.

К. Паустовский. Ялта